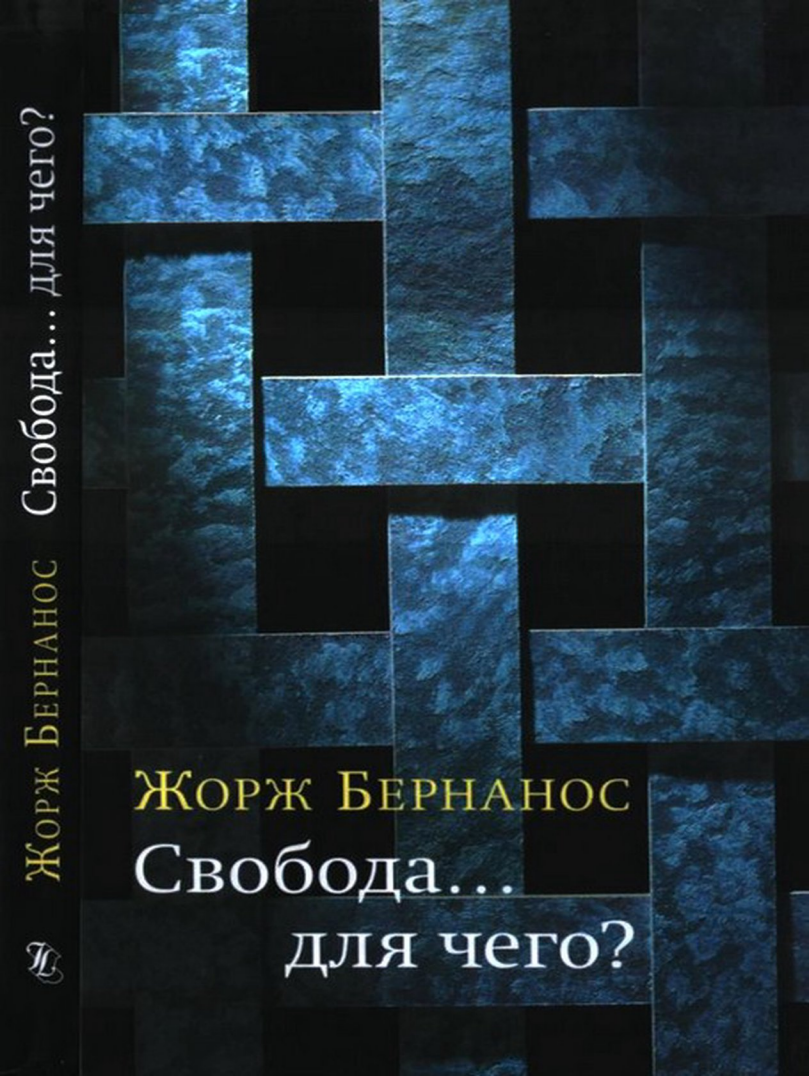
Жорж Бернанос
Свобода... для чего?
Жорж Бернанос
Свобода... для чего?

Свобода… для чего?
Жорж Бернанос

Аннотация
Жорж Бернанос
От издателя
Пьер Жиль. Предисловие
Свобода… для чего?
  Франция в ожидании завтрашнего дня
  Свобода… для чего?
  Революция и свободы
  Европейский дух и мир машин
  Наши друзья святые
Приложение. Признание слушателям…

Аннотация

28 июня 1945 года, отвечая на настойчивый личный призыв генерала де Голля, Бернанос вернулся на родину после восьми лет, проведенных в Бразилии. Он эмигрировал в сентябре 1938 года, в преддверии Мюнхенского сговора, считая атмосферу Франции нестерпимо удушливой доя любого, кто мыслит свободно. Отказавшись от романного творчества, писатель превратил свое перо в оружие. Выступления в крупных бразильских газетах сделали Бернаноса вдохновителем французского Сопротивления.

В послевоенные годы он размышляет о проблеме коллективного отступничества и духе тоталитаризма, об утрате свободы в процессе порабощения личности государством; анализирует не только феномен носителя власти, но и феномен жертвы, находящей доя себя алиби в непротивлении.

Жорж Бернанос

От издателя

Поздно став писателем, Жорж Бернанос (1888–1948) всего десять лет отдал сочинению романов, но каких: неистовых, сумеречных, великолепных! Созданные им образы, рожденные под знаком сатаны и его исчадий, открытые и соблазнам, и духовным исканиям современного мира, принесли автору славу соперника Достоевского. В приключении он видит сверхъестественное, героем эпопеи делает священника. В публицистике Бернаноса та же энергия, а вместе с тем — беспощадная ирония и живое чувство юмора становятся оружием в битве с несправедливостью, посредственностью, с обществом, предавшим забвению ценности: перед нами — бурный, сокрушительный поток.

Смерть помешала Жоржу Бернаносу завершить редакцию задуманной книги «Свобода… для чего?». В начале 1953 года Альбер Беген собрал и опубликовал под этим заголовком в издательстве «Галлимар» тексты лекций, прочитанных писателем за год, с осени 1946-го до осени 1947-го, после возвращения из Бразилии, где он находился в

добровольном изгнании (1938–1945), не допуская никаких компромиссов с воцарившейся на родине ложью. В заметке «От издателя» Альбер Беген дал следующие пояснения:

> «Зимой 1947-го-1948-го, последней своей зимой, Бернанос отдал в перепечатку тексты лекций, прочитанных в течение предыдущих двух лет, собираясь составить из них книгу. Но, занятый работой над „Диалогами кармелиток“, сраженный болезнью, которая станет причиной его смерти в июле 1948 года, он не смог осуществить свой план. Осталась кипа рукописных тетрадей, отдельных листов, более или менее выправленных машинописных копий: последовательность лекций, как и план будущей книги, восстановить было нелегко.
>
> Мы публикуем без внесения каких-либо изменений три лекции, прочитанные на Женевских встречах в сентябре 1946 года („Европейский дух…“), в большом амфитеатре Сорбонны в феврале 1947-го („Революция и свобода“) и для монахинь, „малых сестер“ Шарля де Фуко,

осенью 1947-го („Наши друзья святые“): переписанные начисто, эти рукописи безупречны.

Еще два текста: „Франция в ожидании завтрашнего дня“ и „Свобода… для чего?“ — результат „монтажа“, необходимого из-за состояния рукописей. Во время своих поездок с выступлениями Бернанос каждый день почти полностью переписывал прочитанную накануне лекцию, всегда ею не удовлетворенный, а кроме того, записывал отдельные фрагменты своих бесед со слушателями, постоянно что-то в них изменяя, предполагая затем включить их в сорбоннскую или в женевскую лекции. Перед нами оказалось множество вариантов одних и тех же текстов, а также фрагменты рукописей, где первоначальный порядок часто невозможно восстановить.

Мы приняли, думается, единственно возможное решение: собрать эти membra disjecta[1] под двумя рубриками, сохраняя как одно целое те части, логическая связь

[1] Примечания: 1
Разрозненные части *(лат.). Здесь и далее примеч. пер.*

между которыми очевидна, и располагая их в довольно свободном порядке. Нам кажется, получившаяся композиция, где темы то чередуются, то возвращаются, не чужда методу, который Бернанос использует в своей публицистике (например, „Униженные дети“ или „Мы, французы“). Из одного раздела в другой переходят всё те же тревожные мысли, почти наваждения. Мы нашли нужным удалить лишь буквальные повторы, ни в коем случае не внося в тексты изменений или купюр.

В Приложении публикуются некоторые начальные фрагменты и обращения к аудитории; они могли бы нарушить ход развития мысли в основном тексте, но в них вкраплены откровенные признания, которыми Бернанос делится со слушателями, поэтому мы не сочли возможным утаить их от читателя».

Текст настоящего издания выверен по рукописям и машинописным копиям Пьером Жилем.

Перевод Н. В. Кисловой

Пьер Жиль
Предисловие

И в самом деле, Боже мой, для чего она нужна — свобода? Зачем существуют свободные или слывущие свободными страны — Франция и ее европейские сестры, для которых идеал свободы составляет главное наследие христианских народов старой Европы?

Приписываемая Ленину острота, давшая название сборнику последних лекций Бернаноса, может показаться не такой уж актуальной в сегодняшнем мире, ведь демократические свободы худо-бедно прокладывают себе путь, хотя и остаются еще на земле обширные пространства, где под разными личинами царит рабство, недовольных бросают в тюрьмы, массы людей подвергаются идеологическому или экономическому гнету. Но так ли реальна свобода, которой мы наслаждаемся? Разве мы не видим, как день ото дня усиливается власть государства, а технократия все глубже внедряется в нашу повседневную жизнь? Трудно не заметить миллионов отверженных, они — продукт нашего общества: для

них (банально об этом напоминать) некоторые весьма конкретные свободы, в том числе свобода покупать, оборачиваются иронией. Действительно, в конце концов, для чего нужна свобода? Это роскошь… Именно так формулировался вопрос уже в 1945 году, когда Европа, победив нацизм, могла считать себя свободной от тоталитарного кошмара. Вопрос стоял именно так, с той оговоркой, что Бернанос был единственным — да, единственным, кто его поставил.

28 июня 1945 года писатель возвращается на родину, отвечая на настойчивый личный призыв генерала де Голля. Бернанос прожил восемь лет в Бразилии: он эмигрировал в сентябре 1938 года, в преддверии Мюнхенского сговора, считая атмосферу Франции нестерпимо удушливой для любого, кто свободно мыслит и стремится свободно выражать свои мысли. Но легче ли дышится во Франции 1945 года, освобожденной от немецкого присутствия и лжи вишистов? Бернанос задумывается над этим еще до возвращения в Париж. Вскоре он замечает в выражении лиц, словах, поведении соотечественников пугающий отпечаток пережитых лет. Имя этому состоянию духа — сделка с совестью. Такова суть всем известной «системы В» («выкручивайся как знаешь»),

черного рынка, чисток, когда, смывая позор, вымещают его на избранных жертвах — ведь их вина доказана! Если это женщины, им бреют головы, если это двадцатилетние парни-полицейские, их отправляют на виселицу. Повсюду витает душок подлой трусости. Сквозь какую же стену предстоит пробиться слову, которое стремится лишь исполнить призвание всякого слова — просто сказать правду!

Ибо речь идет о правде — резкой, так как она звучит в изолгавшемся мире, где с помощью хитрых уловок, при поддержке многоголосой пропаганды прикрывают каким-нибудь благовидным предлогом самые мерзкие деяния: например, во время Гражданской войны в Испании религиозный мотив использовался для свержения законного режима и расправы с тысячами несчастных, чья вина сводилась к непосещению церкви. Бернанос знает, чего стоит восстать против такого лицедейства: в 1937 году им написаны «Большие кладбища под луной». В мае 1940 года он узнает также, чего стоит стране десятилетие грез, навеянных сиренами национализма: до сотрудничества с Гитлером остается лишь один шаг, и разгром заставляет переступить черту. Находящийся в изгнании писатель вновь

вступает в борьбу. Окончательно отказавшись от романного творчества, он превращает перо в оружие. Выступления в крупных бразильских газетах — свидетельства непримиримости, гнева и надежды — делают Бернаноса вдохновителем французского Сопротивления. Рассеять лицемерную двусмысленность петэновской[2] политики, пробудить национальное сознание, возродить надежду — таковы цели, достойные этого борца. Во Франции 1945–1948 годов всё совсем иначе. Теперь зло невидимо для простого глаза! Конечно, его сразу распознали отдельные прозорливые свидетели — Камю, Шар: это провал Освобождения, обманувшего ожидания. Бернанос надеялся, что Освобождение Франции поднимет все силы духа против современного мира, который ни во что не ставит человеческую свободу и даже человеческую жизнь, так как одержим производственной гонкой и жаждой власти. Но что видит писатель? Даже на его родине этот мир возвращается на круги своя, как будто ничего не произошло… Казалось бы, налаживание экономики, реконструкция, установление новых структур управления в разрушенной стране

[2] Примечания: 2

Маршал Петэн Анри Филипп (1856–1951) — глава коллаборационистского правительства Франции в 1940–1944 гг.

— работа самая *невинная*? Но что станет с делом справедливости и возмездия после великого коллективного отступничества? Кого по-настоящему заботит место Франции в мире и, в первую очередь, судьба старой колониальной империи, которая поддержала страну в борьбе, а теперь рискует развалиться на куски из-за того, что та не принимает всерьез своих обязательств перед ней (вспомним знаменитую «Браззавильскую речь»[3])? Территория освобождена, размышляет Бернанос, но что происходит с душами людей? Казалось бы, гитлеровский тоталитаризм разгромлен, но разве умер дух тоталитаризма? Разве граждане, ликующие оттого, что им возвращены выборы и референдумы, свободны от государства — послевоенного государства, чья власть безраздельна, пусть это и не слишком заметно? Не перекрасились ли попросту поклонники диктатуры, предпочтя соблазну фашизма мираж марксизма? В самом деле, как раз тогда парижская интеллигенция бросается в объятия сталинского коммунизма, благочестиво закрывая

[3] Примечания: 3

Имеется в виду речь Шарля де Голля на открытии Браззавильской конференции губернаторов колониальных владений в январе 1944 г., где ставился вопрос о дальнейших взаимоотношениях между Францией и ее колониями.

глаза на существование по ту сторону железного занавеса огромных лагерей, где гибнут те, кто сохранил свободный ум, кто сопротивляется диктатуре партии… Как пробить стену молчания? Как обличить — снова — тайную внутреннюю готовность людей подчиниться духу капитуляции, объединяющему раба и поработителя, духу, который теперь маскируют красивые слова «демократия», «социальная справедливость»?

Этой отнимающей все силы борьбе Бернанос посвящает последние три года жизни. Он работает с непреклонной решимостью: «Завтра, как и вчера, здесь, как и в Бразилии, — пишет он 27 декабря 1945 года, — я буду говорить для тех, кто не хочет быть обманутым и не путает иллюзию с надеждой». Журналист, лектор — он использует любую трибуну: от «Combat» до «Figaro», а также «La Bataille», «Carrefour», «L'Intransigeant», выступает перед самой разной аудиторией во Франции, Швейцарии, Бельгии, Северной Африке. Разумеется, для Бернаноса статьи и лекции — средство обеспечить себя и семью, таков закон писательского ремесла, тем более если перо — единственный источник существования. Перо кормит, но взамен отбирает жизнь. Писатель поистине исторгает эти страницы из своей души,

порой на них ложится тень приближающейся смерти. Если говорить только о лекциях, они могут показаться не столь значительными, как статьи, где блещет талант полемиста, которым Бернанос быть не хотел. В лекциях порой дышит энергия, вихрь неподдельной страсти (правда, стремясь заразить ею слушателей, автор не скупится на всевозможные приемы), в другие моменты ход рассуждений как бы замедляется: похоже, зло противится анализу, увертывается, находя тысячи отговорок, и приходится упорно опровергать их одну за другой. Необходимо еще приспособиться к слушателю, последовательно уводя его от готовых схем мышления. Требуется время и немало усилий, чтобы вернуть зрение этому слепцу, которого стараются держать в шорах невероятно активные силы конформизма (государственная пропаганда среди них, пожалуй, наиболее откровенна). Изменения темпа особенно привлекают внимание в двух первых «лекциях», смонтированных Альбером Бегеном из многочисленных фрагментарных вариантов двух больших лекционных циклов, прочитанных с декабря 1946-го по весну 1947 года. Местами здесь заметно и некоторое многословие. Эти два текста, такие как есть (и нельзя не восхищаться

изобретательностью и скрупулезной строгостью работы Бегена), вместе с двумя последующими дают нам возможность приобщиться к поздним размышлениям писателя, который в открытом противостоянии пытливо всматривается в современный ему мир, — вернее, назвать этот мир нашим.

«Четыре большие пламенные речи о бедствиях нашего времени» — так определил Альбер Беген четыре из пяти текстов, опубликованных им в 1953 году. Именно в таком свете и нужно их воспринимать: Бернанос не повторяет, он переписывает, заново формулируя то, что не дает покоя. Как в композиции, так и в плане анализа различия между ними существеннее, чем может показаться поначалу.

Первая из «лекций», если мы согласимся так их называть, развертывается под знаком надежды и борьбы. Лектор формулирует парадокс: упадок, переживаемый страной, дает ей исторический шанс. Она пала, потерпев самое тяжкое в своей истории поражение, но, возможно, благодаря этому миллионы людей, ее далеких друзей в Латинской Америке или где-то еще, яснее поняли, какое место занимает она в мировой истории, в их сознании. Унижение причиняет ей страда-

ния, но без страдания нет искупления. Техника и человек вступили в беспощадную борьбу, но, по сути, Техника черпает силу в том, что ее пособником выступает аппетит самого человека. Однако скрытая схема доказательства, связанная с логикой лекции, основана на подчеркнутом неравенстве представленных сил.

> Благодаря технике современное государство получает самый невероятный инструмент власти — о таком не смел мечтать ни один тиран от начала времен.

Его возможности безграничны — это «колоссальная машина пропаганды». На карту поставлено все: техника «может уничтожить человечество, может довести его до такой глубокой деградации, что оно потеряет право называться разумным». Против — в представленной здесь диспозиции — не выступает никто, почти никто. Французская мысль постепенно «уступила» давлению противника. И французы, за исключением «горстки» сопротивленцев, павших в бою, давно уже стали всего лишь «массой», поддавшейся самоубийственному соблазну, легкой добычей для того, кто пожелает ее взять… Тем не менее

одинокий голос лектора произносит свой символ веры, почти отчаянное чистое утверждение: «Но мы уже знаем, что французская мысль не капитулирует». Логическим завершением становится призыв к сопротивлению и к победе, вопреки едва ли не очевидному сценарию.

Вторая «лекция», составленная почти в то же время, отличается от первой и тональностью, и системой аргументации. Она более мрачная, здесь зло предстает во всем его размахе и глубине: «Все человечество больно». Речь идет о недуге духовном — и самом тяжком: об утрате духа свободы. Не стоит возлагать всю вину на разрушившие мир диктатуры, корни зла глубже, и в действительности за него в ответе общество техников, симбиоз государства и треста, который прекрасно приспособился к демократии, но преследует только одну цель: установить мировую политическую диктатуру путем диктатуры экономической. Этот принцип порабощения личности, извращая ее духовные основы, предельно жесток: он объясняет не только душу палача, носителя тоталитарной власти, но и душу на все согласной жертвы, находящей для себя алиби в непротивлении. Мы видим, что, хотя общий план и приемы в целом схожи (гиперболизация

противника, дисквалификация признанных героев, идет ли речь о Франции, католиках или призыве к мобилизации), лектор достигает здесь убедительности другими средствами. Слушателю предлагается взглянуть прямо в глаза чудовищу, которое само испытывает страх: оно чувствует себя сильным, запугивая, отравляя исподтишка, но открытый бой не для него.

В первой версии, можно сказать, субъект отсутствует, во второй он обесценивается. В обоих случаях обозначено пустующее место, предоставленное в распоряжение слушателя (дважды возникающий силуэт генерала де Голля в четвертой части первой «лекции», кажется, выполняет эту функцию указания на некое свободное пространство). Третий вариант, где схема действия драматически перевернута и само зло превращается в субъект желания, воплощен в лекции, прочитанной в Сорбонне 7 февраля 1947 года. Бернанос озаглавил ее «Революция и свобода» (заменив заранее объявленное название «Демократия и революция»).

Эта лекция, менее тщательно проработанная с точки зрения формы (вероятно, Бернанос сочинял ее в спешке), развертывается в основном в двойной плоскости, социолого-психоаналити-

ческой, как сказали бы сегодня. Использование этих терминов требует осторожности, ведь взгляд лектора (он сам это подчеркивает) по-прежнему остается взглядом писателя, который к тому же рассматривает события истории сквозь призму христианской концепции человека. Так или иначе, с одной стороны, Бернанос анализирует эволюцию машинного производства, «проституированного» спекуляцией, а затем присвоенного государством, с другой — исследует духовные корни капитуляции личности перед соблазном механики — своего рода наркотика. Из этого двойного анализа следует, что вот уже более столетия человек, пользуясь машинами, утратил инициативу. Игру ведет мир техники, извращенный, в свою очередь, властью денег: он делает с индивидуумом все, что хочет, внедряясь в глубины его разума. Но чего он хочет? Такова отправная точка олицетворения, которое проходит сквозь весь текст, постепенно обгоняя простую диалектику, олицетворения технической цивилизации и — более глобально — современный мир. Вот он, монстр техники, колосс, овладевающий нашим мозгом с намерением «вскоре, быть может, заполучить человеческий материал, созданный для него, приспособленный к его нуждам». Он

«хочет», «требует», «боится». «Он не терпит возражений», а главное — «он велит, приказывает, неотступно требует производить, дабы не оставлять нам времени на размышления». Его союзник — наша покорность, он и не ждет от нас ничего другого. Его противник — наш отказ, если у нас еще хватит мужества и воли отказаться… Он хочет завладеть планетой, если только в приступе delirium tremens не уничтожит себя, а вместе с собой и человека (в таких делах он непревзойденный мастер). Слушатель, читатель чувствует себя на месте *противника* рокового героя, он поставлен в ситуацию чрезвычайную.

Четвертая лекция, самая длинная (Бернанос прочел лишь около двух третей написанного) и наиболее продуманная, по времени предшествовала трем другим: она читалась на Международных Женевских встречах 1946 года, посвященных теме «европейского духа». В ней мы уже находим все темы, с которыми успели бегло ознакомиться, но здесь автор развивает их наиболее полно и, так сказать, с особым накалом. Воображение романиста, тонкость диалектика, сила визионера, сплавленные воедино, превращают это выступление в необыкновенную пророческую речь, проницательность и смелость которой особенно

поразительны сегодня, когда вчерашние иллюзии в значительной мере рассеялись. Опровергая один за другим аргументы, с помощью которых современный мир успокаивает своих адептов (пресловутых «дураков», ничего не видящих и верящих всему, что им рассказывают), лектор пытается убедить аудиторию, а через нее — человечество, в том, что над миром нависла угроза и что катаклизм 1940–1945 годов и взрывы в Хиросиме и Нагасаки — лишь отдаленный намек на эту угрозу. Здесь преобладают тревога и страх, но юмор не сдает своих позиций. И сразу же, будто масштабы угрозы этого требуют, яснее вырисовывается то, что мы назвали местом субъекта: *«Мир спасут только свободные люди. Нужно создавать мир для свободных людей».* Удивительно и знаменательно, что это место предназначено для двоих: его занимают — бок о бок — человек будущего, герой завтрашнего дня, и сегодняшний слушатель или читатель.

Четвертый текст, как уже говорилось, создает атмосферу страха, дышит священным трепетом смерти, и в этом его убедительность. Между тем тональность последней лекции, «Наши друзья святые», совсем иная, в ней слышны ноты уверенности и надежды. Приправленная чудесным юмором, пронизанная своеобразной нежностью, она напоминает о том, что и в самые мрачные периоды истории последнее слово принадлежит не смерти. И здесь тон лектора столь же убедителен. Такова сила устного слова, пусть дошедшего до нас в письменной форме: оно глубоко задевает за живое, и то, что однажды было произнесено в доверительной беседе или в страстной защитительной речи, с годами все шире разносит звонкое эхо.

Перевод Н. В. Кисловой

Свобода… для чего?

Сегодня цивилизации необходима не только защита. Она должна беспрестанно творить, ибо варварство беспрестанно ее разрушает, и заключенная в нем угроза особенно сильна, поскольку оно делает вид, будто также, в свою очередь, созидает.

Худшая беда для мира в час, когда я говорю с вами, состоит в том, что никогда еще не было так трудно отличить созидателей от разрушителей, ибо варварство никогда не имело столь мощных средств, позволяющих ему использовать разочарования и надежды человечества, окровавленного, усомнившегося в себе и в своем будущем. Никогда еще Злу не предоставлялся столь благоприятный случай притвориться, будто оно творит дела Добра. Дьявол, как никогда прежде, оправдывает прозвище, данное ему святым Иеронимом: Обезьяна Бога.

Франция в ожидании завтрашнего дня

Возможно, вас не слишком-то интересует мир, каким он будет завтра. А вот завтрашний мир проявляет к вам повышенный интерес. Вы, конечно, говорите себе: что бы ни случилось, я найду способ внедриться в него — тем или иным манером. Да, разумеется. Будем надеяться, что внедритесь вы в него не так, как ягненок внедряется в волчью пасть.

Бельгия, Северная Африка, декабрь 1946-весна 1947 гг.

Пророк становится истинным пророком лишь после своей смерти, а до того момента с ним не принято особенно тесно общаться. Я не пророк, но порой мне удается увидеть такое, что вроде бы видят и другие — но не хотят замечать. Современный мир переполнен бизнесменами и полицейскими, а ведь ему жизненно необходимо услышать взывающие к освобождению голоса. Свободный голос, как ни мрачно он звучит, всегда взывает к освобождению. В голосе, взывающем к освобождению, отсутствует примирительная,

успокоительная интонация; подобные голоса не довольствуются тем, что предлагают нам ожидать будущего так, как стоят на платформе в ожидании поезда. Будущее — нечто, нуждающееся в преодолении. Будущее не переживается, а создается нами самими.

Среди вас наверняка найдутся те, кто оказал мне честь прочтением моих книг, но, возможно, именно их-то как раз и надлежит немного успокоить в том, что касается моих намерений. Увы, нет ничего легче, чем впасть в заблуждение по поводу истинного содержания произведений здравствующего ныне писателя. И действительно, большая часть книг обретает свой истинный смысл лишь после смерти авторов. Вот почему, как только нам удается завоевать внимание хотя бы части читающей публики — иначе говоря, добиться значительных тиражей, — издатели приходят к выводу, что нам надлежит облегчить их задачу и позволить им преспокойно зарыть нас в землю, то есть в конечном счете снова — и в последний раз! — обвести нас вокруг пальца. Да, я слыву человеком крутого нрава, но это потому, что я люто ненавижу всякое насилие — и в первую очередь самый омерзительный его вид, тот, который под видом пропаганды (сиречь организованной во

всемирном масштабе лжи) воздействует в наше время на умы. В былые времена во Франции существовала своя философская традиция; теперь же кому-то очень хотелось бы, чтобы осталась одна только французская пропаганда. Когда миллионы людей с тревогой спрашивают себя: «О чем думает Франция?» — пропагандистская машина отвечает им: «Франция думает обо всем понемногу» и выкладывает образцы. Тем самым французская интеллектуальная пропаганда на сегодняшний день часто оборачивается чем-то вроде передвижной выставки, какой-то рекламной организации на службе у определенного круга французских интеллектуалов, демонстрируя публике соответствующие феномены… Нет нужды представлять миру доказательство того, что Франция все еще способна мыслить, что она все еще располагает чрезвычайно достойной командой мыслителей. Мир хотел бы знать, о чем думает Франция, — не из чистого любопытства, но в силу того, что он чрезвычайно тревожится за свое будущее.

Мир задает себе вопрос — неважно, в двух словах или в ста: что́ именно Франция думает о будущем; он выражает свое удивление по поводу того, что после заключения мира она еще в состо-

янии рассуждать на темы, подсказанные военной пропагандой и ныне не годные к употреблению. Мир спрашивает себя: неужели в этой области (как и в любой другой) мы ставим перед собой лишь одну цель — выгодно сбыть наш товар, как если бы воспрянувшая французская философия была всего лишь какой-то малозначительной гранью воспрянувшей экономики, а все наши амбиции не простирались бы много дальше продажи написанных нами книг — ради приобретения валюты.

Порой меня клеймят не только за крутой нрав, но и за пессимизм. Те, кто чересчур сильно желает мне добра, именуют меня пророком. Те, кто не слишком сильно на меня гневается, именуют меня пессимистом. Слово «пессимизм» имеет не больше смысла в моем представлении, чем слово «оптимизм», которое ему обыкновенно противопоставляют. От долгого употребления два упомянутых слова почти в той же мере утратили свой смысл, что и слово «демократия». Теперь о «демократии» рассуждают все кому не лень, от господина Сталина до господина Черчилля. Пессимист сходится с оптимистом в том, что вещи следует видеть не такими, как они есть. Оптимист — это счастливый пессимист, песси-

мист — это обездоленный оптимист. Вы можете с легкостью представить себе эти два типа в виде комических масок Лоурела и Харди[4]… А вообще-то давайте говорить честно — у меня есть право утверждать, что я больше смахиваю на второго из них, нежели на первого… Чего же вы хотите? Мне хорошо известно, что среди вас есть люди исключительно порядочные, которые путают надежду с оптимизмом. Оптимизм — это эрзац надежды, монополию на который присвоила себе официальная пропаганда. Оптимист одобряет все, принимает на себя все, верит во все; его добродетель — это прежде всего добродетель соучастия. Когда налоговая служба лишает его последней рубашки, участливый оптимист подписывается на какой-нибудь нудистский журнал и объявляет, что ходит нагишом из гигиенических соображений и что он никогда прежде не чувствовал себя таким бодрым.

В девяти случаях из десяти оптимизм представляет собой скрытую форму эгоизма, способ отгородиться от чужого горя. В конечном счете истинный девиз пессимиста — знаменитая фраза «после нас хоть потоп», которую безосновательно

---

[4] Примечания: 4

Знаменитая пара комических актеров Стэн Лоурел (1890–1965) и Оливер Харди (1892–1957).

приписывают королю Людовику XIV…

Оптимизм — эрзац надежды, с которым нетрудно встретиться везде, и даже — вот вам простой пример — на дне бутылки. Однако надежду еще надлежит завоевать. Надежда достигается лишь на пути истины, ценой огромных усилий и ангельского терпения. Чтобы встретиться с надеждой, следует преодолеть чувство безнадежности. Тот, кто сумеет осуществить путешествие на самый край ночи, сможет встретить новую зарю.

В моем представлении — и хотелось бы определенно, раз и навсегда заявить об этом — пессимизм и оптимизм суть изнанка и лицо одной и той же *лжи*. Согласен, если больной с оптимизмом смотрит в будущее, он может вылечиться. Но оптимизм точно так же может свести его в могилу, если он побудит больного не следовать предписаниям врача. Никакая форма оптимизма не способна уберечь кого бы то ни было от землетрясения, и величайший на свете оптимист, если он окажется в радиусе стрельбы пулемета, — а это в наше время может произойти с каждым, — неизбежно будет изрешечен пулями.

Оптимизм — ложная надежда, к которой прибегают трусы и болваны. Настоящая надежда

— добродетель, virtus, героический склад души. Высшая форма надежды — преодоление безнадежности.

Однако одной лишь надежды недостаточно. Для тех, кто рассуждает об «оптимистической смелости», несомненно, не является тайной точное значение этого выражения во французском языке; им известно, что «оптимистическая смелость» может относиться лишь к препятствиям средней степени сложности. А вот когда речь заходит о чрезвычайных обстоятельствах, с ваших уст автоматически слетают другие формулировки: «отчаянная смелость», «отчаянная энергия». Я утверждаю, что именно такой смелости и такой энергии ожидает сейчас от нас Франция.

Чтобы действовать, нам нужно набраться подобного рода смелости. Но и чтобы мыслить — тоже. О да, разумеется, страна, собирающая таким манером свои силы, не соответствует тому представлению, которое выработано по поводу объединенной страны болванами! Болваны воображают себе объединенную страну как сходку бравых ротозеев с засученными рукавами, которые сообща закусывают и пьют из одной бутылки. Но великий народ, объединяющийся во имя противостояния врагу, неизбежно вызывает

у кого-то беспокойство, а кого-то и шокирует. Великий народ не может сомкнуть свои ряды безо всякого риска. Великий народ смыкается вокруг своих элит — не вокруг той или иной социальной группы, но вокруг тех, кто намерен принять этот риск на себя. Риск мыслить и риск действовать — ведь мысль, не связанная с действием, недорого стоит, а действие, не поддержанное мыслью, вообще ничто. К тому же мышление великого народа — это ни в коей мере не сумма противоречивых мнений ста тысяч интеллектуалов, которые обыкновенно мыслят в зависимости от своего настроения; мыслят так, как «чешут, где чешется». Мышление великого народа — это его историческое призвание. Так что необходимо различать наше мышление и нашу мощь, поскольку нашу мощь оправдывает наше мышление.

Если вы возьмете на себя труд поразмыслить над сказанным, то, быть может, придете к выводу, что я имел основания попытаться синтезировать все те частные проблемы, по поводу которых люди в наше время ведут жаркие споры и во имя которых завтра они примутся убивать друг друга. Наша страна неизменно видела свое призвание в том, чтобы пытаться мыслить универсально. А нынешнюю Францию кому-то хочется превра-

тить в своего рода посредника — как в плане внешней политики, так и в плане мышления как такового; посредника, который собирает со всего мира чаевые. Я утверждаю, что у Франции есть и более важная миссия, чем выступать в роли посредника.

Кризис охватил Францию. Кризис охватил всю Европу. Но — скажу сразу — я полагаю, что подобного рода кризисы суть лишь отдельные проявления какого-то более глобального кризиса. Это не что иное, как кризис цивилизации.

О, разумеется, когда я подвергаю суду всю европейскую цивилизацию, робкие умы в недоумении спрашивают себя: удачный ли выбран для этого момент? Только что завершившаяся разрушительная война и мир, который должен наступить, да все никак не настанет, нанесли серьезный удар по престижу Европы. Стало быть, осуждать современную цивилизацию означает осуждать всю Европу? Но хотим мы этого или нет, уже тысячи людей в Европе и за ее пределами начинают осуждать эту цивилизацию. Я верю — всеми фибрами своей души верю в то, что моя страна не должна связывать свое призвание, подчинять свою традицию и свой образ мыслей той цивилизации, которая на самом деле скорее

занята уничтожением всех духовных ценностей. Полагаю, миссия Франции заключается в том, чтобы первой разоблачить эту цивилизацию. Полагаю, разоблачив ее, Франция снова сможет занять место духовного наставника и проводника — впрочем, она никогда и не теряла указанной роли, ведь никто не мог в этом смысле ее заменить.

Слово «цивилизация» на протяжении многих тысячелетий неизменно выглядело как нечто успокаивающее. Легко представить себе цивилизацию как убежище, как домашний очаг. Почему? Да потому, что до сей поры все цивилизации носили традиционный характер и являлись общим делом. А вот нынешняя цивилизация общим делом не является. О да, разумеется, идеально справедливых цивилизаций не бывает. Но ведь и сами несправедливости в традиционных цивилизациях были как бы рукотворны, сработаны человеком вручную; то, что могли сотворить одни руки, могли разобрать на части другие. Однако так называемая современная цивилизация — это техническая цивилизация. Ее неправедное устройство сработано не вручную, а с использованием механизмов, и таким образом мельчайшая ошибка может иметь для нее

непредсказуемые последствия. Находящаяся на службе у неправды и насилия техника делает их особенно опасными. Есть опасение, что неправда в скором времени приобретет здесь тотальный характер — как и сама по себе война. Если вообще можно говорить о наличии у техники какой-то нравственности, то эта техническая мораль ни в коей мере не сможет походить на мораль традиционную, рукотворную. Правда, существует, к примеру, техника оказания помощи неимущим, одержимым каким-либо пороком, всякого рода деградировавшим личностям. Но с точки зрения голой техники их простое физическое устранение стоило бы дешевле. Поэтому техника рано или поздно их уничтожит.

На днях знакомый офицер — в свое время подвергнутый депортации — рассказал мне об одном эпизоде, свидетелем которого он стал в Германии, в том лагере, куда его интернировали. Однажды утром в лагерь прибыли два эшелона с увечными немецкими солдатами. То были тяжелые увечья, и солдаты эти уже не годились ни для каких общественных работ — одним словом, по той или иной причине их сочли бесполезными. Собирали их по разным станциям, причем всякий раз торжественно трубили фанфары, а

Красный Крест вдоволь снабжал их сигаретами и сигарами. Когда они прибыли в лагерь, эсесовцы поначалу встретили их с почестями — сам начальник лагеря и начштаба присутствовали, вытянувшись по стойке «смирно», когда они маршировали. Затем под предлогом того, что им якобы нужно принять душ, их группами по двадцать четыре человека затолкнули в газовую камеру — она тоже была украшена знаменами. Вся операция заняла четыре часа. Свидетель этой жуткой сцены живет среди нас, и кое-кто из вас, возможно, уже слышал этот рассказ. Что касается меня, то я нахожу эту операцию с технической точки зрения безупречной. О да, я знаю, вы скажете: да ведь это же немцы! Но подобного рода техника витает в воздухе, коль скоро вдохновляющий и оправдывающий ее принцип уже более или менее закрепился в сознании людей. Мы внутренне согласились с тем, что удел человека оказывается подчинен детерминизму экономических законов. А чем, скажите, заняты тоталитарные режимы, как не легким подталкиванием этой игры экономических сил — не с тем, чтобы нарушить ее течение, но, напротив, чтобы ускорить процесс — подобно тому, как акушер способствует скорейшему разрешению рожени-

цы от бремени? К чему лицемерить? Когда речь заходит о том, чтобы удержать цены на какой-нибудь жизненно необходимый продукт, — разве мы выражаем свой протест по поводу уничтожения этого продукта? Разве это вызывает у нас какое-то особенное возмущение? Несколько лет тому назад, чтобы предупредить падение цен, американские производители вылили в реки тысячи литров молока. Таким образом, если, исходя из подобной же экономической логики, пустить в расход некоторое количество детей — разве это помешает нам спать спокойно? Может, потомков наших не слишком-то удивит, что техника принялась устранять переизбыток детей, вместо того чтобы выливать многие литры молока в реку… Вы скажете мне, что за счет введения монополии на молоко подобного рода фактов, возможно, удастся избежать. Ну и продолжайте так считать себе на здоровье. Людей морят голодом, чтобы они приобретали валюту. И что дальше? Вы думаете, продавать самих граждан — что-то принципиальное иное? Можете ли вы утверждать с уверенностью, что граждан этих мы не уступили бы Америке — либо одетыми, либо в чем мать родила, на выбор, — если бы на международном рынке они были оценены в

подобающую сумму в долларах?

Нам сильно недостает воображения. Нам казалось, что война 1914 года будет похожа на войну 1870 года. А потом мы решили, что война 1939 года будет похожа на войну 1914-го. Так мы можем далеко зайти. Очень и очень далеко. Вы, например, полагаете, будто в мире будущего, где техники[5] смогут располагать той чрезвычайно мощной, почти безграничной энергией, которая именуется ядерной (фактически речь идет об энергии самой Вселенной), вы продолжите вести тот же образ жизни, что и сегодня. Какой сногсшибательный оптимизм! Да ведь вы же считаете вполне естественным — ввести на обычном заводе, производящем порох, строгую дисциплину. Неужели вы полагаете, будто вам позволят играть с атомной энергией, как ребенку позволяют играть со спичками? Неужели вы не в состоянии прикинуть, сколько понадобится всяческих контролеров, смотрителей и полицейских, дабы предотвратить возможные ошибки или же утечки опасного вещества?

---

[5] Примечания: 5

Под техниками Бернанос подразумевает технических специалистов, инженерно-технических работников всех уровней — тех, кто разрабатывает, строит, обслуживает всевозможные машины, управляет ими и в силу этого претендует на лидерство в современном обществе.

* * *

Сегодня Франции грозит наибольшая за всю ее историю опасность — и в то же время перед ней открываются наиболее грандиозные за всю ее историю возможности. Вот она, истинная весть о спасении, которую мне хотелось бы разнести повсюду — если б только это было в моих силах. Часто обнаруживается, что от меня хотят услышать лишь вторую часть сказанного; но одно неотделимо от другого, во всяком случае, они образуют единое целое. Именно потому, что Франции грозит наибольшая опасность, перед нею открываются наиболее грандиозные возможности. Вот что мне хотелось бы первым делом обосновать, прежде чем двигаться дальше. Вы видите здесь, перед собой, французскую цивилизацию. Вы видите перед собой ее завоевания. На свете есть огромные пространства — да, поистине огромные, и в некоторых из них мне довелось побывать, — где не увидишь самих этих завоеваний, зато везде ощущается их дух. Да, на свете живут тысячи и тысячи людей, для которых французская цивилизация является своего рода убежищем, защитой, а точнее сказать, отчизной. Говорю об этом, потому что это правда. Я гово-

рю об этом и предвижу, что некоторые из вас недоуменно пожмут плечами — те, кто и поныне убежден, будто я им в очередной раз попусту морочу голову. На протяжении долгого времени эти миллионы людей ощущали, как над миром с каждым днем сгущается угроза угнетения и порабощения. Они не сумели бы уточнить суть этой угрозы, четко определить ее контуры; они воспринимали ее так, как стадо чувствует приближение грозы. Христиане видели, что угроза нависла нал Церковью и над всеми духовными ценностями христианства. Остальные не помышляли ни о чем, кроме свободы. Но как те, так и другие представляли себе французскую цивилизацию как неприступную крепость. Ведь все знали о существовании французской философии, которую повсеместно путали со свободомыслием. Все знали о существовании французской традиции и великих деятелей Франции; нашей истории, проникнутой человечностью, и легенды о Франции, еще более человечной, чем история. Но самое главное: был тот самый французский народ, который в мирное время неизменно предстает разъединенным, а во время войны — объединенным; который невозможно поставить на колени и который дает единодушный

отпор любым провокациям из-за рубежа. Была и французская армия, слывшая лучшей в мире. В 1940 году все эти миллионы людей разочаровались и во французском народе, и во французской армии; им внезапно открылось, какой опасности подверглось то, что им столь дорого; по тому ужасающему предчувствию, которое вдруг охватило их, они впервые в жизни поняли, что Франция не только занимает выдающееся место на мировой арене, но еще и не менее значительное место в их сознании; тем самым они вмиг осознали масштаб той надежды, которую они на нас возлагали.

Как вам известно, в теологии проводится разграничение между видимой и невидимой Церковью, между телом Церкви и ее душой. Тот, кто принадлежит телу Церкви, имеет право именоваться христианином и может претендовать на всевозможные привилегии, даруемые этим внушительным, двухтысячелетним зданием, апостолическим и римским. Однако невидимая Церковь — это Церковь святых. Если Церковь святых — истинная душа Церкви, то видимая Церковь без нее остается лишенным души телом. Я здесь не противопоставляю одну империю другой — как и теологи, отказывающиеся противопоставлять невидимую Церковь видимой. Я

лишь утверждаю, что в мире живут миллионы людей, почерпнувшие из наиболее ценной составляющей нашей культурной традиции одно и то же традиционное представление о Порядке и Свободе и тем самым — почти не ведая того — приобщившиеся к нашей жизни, ставшие членами сообщества французов, и не в качестве неуклюжих подражателей или нетерпеливых наследников, но как сыны одной матери. О, только не подумайте, что я имею в виду записных интеллектуалов, которые — на каких бы широтах они ни проживали — держат руку на пульсе всех парижских новостей! У французской культуры есть свои собственные зеваки. Меньше, правда, чем у американской, но тем не менее нельзя сказать, чтобы французская культура отпугивала от себя всех любителей обезьянничать.

Я утверждаю, что в мире есть миллионы людей, которые в жизни не читали и никогда не станут читать книги господина Сартра и которые представляют себе Францию именно такой, какой представляли ее наши предки; которые хранят в своем воображении образ Франции, многими из нас уже утраченный — и так ничем и не замененный.

Разумеется, я не могу требовать, чтобы вы мне

поверили на слово; не могу подтвердить свои высказывания какими-то доказательствами. Но вы ведь сами понимаете, что я не принадлежу к разряду политических или академических шутов и не являюсь торговцем фразами. Восемь лет я прожил в Южной Америке, куда — замечу в скобках — отправился по собственной воле в начале 1938 года; точно так же по своей собственной воле после разгрома Гитлера и окончания войны мои молодые сыновья оттуда уехали, чтобы поступить на военную службу. Я вправе рассказать вам о жизни тех народов, которые мне хорошо знакомы. Мои сведения о них почерпнуты отнюдь не в литературных салонах и палас-отелях.

Мы с женой и детьми жили вдали от больших и богатых городов на побережье океана, много дальше, чем конечные станции железной дороги. Знаю не понаслышке о маленьких белых городках бразильской глубинки, разбросанных по огромной целинной территории, затерянных в низкорослых тропических лесах, — но и там повсюду присутствует Франция. Повторяю это снова и снова, потому что это правда. Повторяю, Франция присутствует в каждом из этих городков, название которых вы и на карте-то не сыщете; зато местный священник, нотариус,

хозяин гостиницы, аптекарь и редактор местного еженедельника непременно беседуют друг с другом о моей стране и при этом выказывают почти религиозную серьезность образца поколения 1848 года, поскольку для них Франция остается либо старшей дочерью Церкви, либо орудием эмансипации рода человеческого — в зависимости от предпочтений каждого. Ну да, сказанное может показаться вам нелепостью, но дело обстоит именно так — что я еще могу сказать? Вполне возможно, подобные персонажи будут выглядеть смешно в каком-нибудь кабачке на Монмартре, где шансонье без особых усилий начнут их подкалывать. Ну и что с того? У себя на родине их воспринимают вполне серьезно, уверяю вас; а вот как раз монмартрский шансонье смотрелся бы там крайне глупо… Могу засвидетельствовать: наше поражение в 1940 году уязвило их в самое сердце, и все наши оправдания им были совершенно непонятны. Да, мне необходимо сказать об этом. Вам следует об этом знать. Наше поражение уязвило их в самое сердце. Сколько бы мы им ни твердили, что и они на нашем месте поступили бы точно так же, — они не хотели видеть себя на нашем месте, это было не в их правилах: они никогда не «видели себя на месте» народа, по-

родившего стольких святых и героев, на месте Франции Карла Великого, святого Людовика, Жанны Д'Арк, великого Наполеона — да они никогда не осмелились бы занять наше место. Они с изумлением взирали на нас с другого берега океана. Вы говорили им, что, когда два народа сражаются плечом к плечу, в случае поражения мудрость проявляет тот, кто раньше сдается на милость врага, и что лучше уж капитулировать, нежели погибнуть — ничего не поделаешь, им это все равно напоминало Ватерлоо. Им толковали про Петэна, а они думали о Камбронне[6]. «Боже, Боже, а Франция-то!» — эту фразу мы слышали там постоянно на протяжении двух послевоенных лет. Она была запечатлена у всех на устах, читалась в каждом взоре. Помню одного старого аптекаря, который в августе 1940 года — будучи уже погруженным в диабетическую кому и окруженный молящимися о его душе близкими — вдруг открыл глаза и снова (в последний раз) произнес: «Боже, Боже! А Франция-то!» — испустив при этом столь глубокий вздох, что он, казалось, доносился из загробного мира. Об этом, как и обо всем остальном, я говорю вовсе не для того, чтобы вас

[6] Примечания: 6

Камбронн Пьер Жак Этьен (1770–1842) — знаменитый французский военачальник, плененный англичанами в сражении при Ватерлоо.

разжалобить… Мне частенько приходилось пересказывать эту историю своим друзьям, но вот изложить ее на печатных страницах я прежде не решался. Уж очень боялся, что среди читателей обнаружится какое-то количество из тех тридцати восьми миллионов французов, которые — в тот самый момент, когда отходил в мир иной сей благородный человек — восторженно приветствовали маршала Петэна и поздравляли друг друга с тем, что удалось-таки с наименьшими потерями выкарабкаться из этой напасти; с тем, что французы в кои-то веки проявили большую изворотливость, чем англичане; вслед за этим они — как тогда было модно — начинали ахать над собственными бедами. Коль скоро представилась такая возможность, замечу мимоходом, что все тогдашние друзья Франции, где бы они ни жили, категорически отказывались нам сочувствовать. Они чересчур почитали Францию, чтобы проявлять к ней сострадание; они знали, что великой нации негоже принимать слова сострадания от кого бы то ни было. Они не сочувствовали нам, а если вдруг случайно и сделали бы это, то сами же очень скоро пожалели бы — ведь мы и сами очень скоро перешли от жалости к себе к совершенно комичному бахвальству. Послушать нас,

так это именно мы и выиграли войну. Мы рассуждаем о Сопротивлении так, будто мы никогда и не кричали победителю; «Чур!» А об освобождении Парижа — так, будто никогда и слыхом не слыхивали (никогда-никогда!) о достойном восхищения, несравненном, беспрецедентном Варшавском восстании. Восстании, случившемся в этом отданном на растерзание врага, распятом на Голгофе меж двумя разбойниками городе, когда орудия русских ПВО совместно с орудиями немецких ПВО обстреливали английские самолеты, а те, двигаясь плотной цепью, пытались сбросить на парашютах оружие для восставших; когда советская армия удерживала повстанческую армию под огнем немецкой артиллерии — вплоть до полного уничтожения, в точности как какой-нибудь парнишка со скотобойни, который зажимает животное между бедер и резко выкручивает ему голову назад, чтобы облегчить работу обвальщика… Нет, те бедняги, кто в 1940 году причитал: «Боже мой! Боже мой! Франция…» — делали нечто более важное, чем сострадать Франции; они страшились за свою собственную судьбу — судьбу своих детей, судьбу своей родины; они с тревогой вопрошали себя, как именно все то, что им так любо, можно спасти без нашего

участия, — и тем самым оказывали нам честь.

Это правда, что наше поражение в войне — подобно нынешней нечестивой конкуренции и продажности современных избирательных блоков — нанесло серьезный удар по престижу Франции. Но ведь то был, собственно говоря, не престиж Франции, а престиж французов; то был престиж несчастных, потерпевших поражение поколений. Что же касается престижа Франции, точнее, истории Франции и легенды о ней, то — сколь ни парадоксально это звучит — он рос и укреплялся по мере того, как снижался престиж французов.

Увы! Средний француз, тот, что никогда и носа не высунет наружу, охотно воображает себе, будто обитатели тех далеких стран, которые он даже не в состоянии толком разглядеть на карте, жили в блаженном неведении относительно вселенской драмы, первый акт которой только что был сыгран на территории Европы и развязка которой определит судьбу всего рода человеческого. Средний француз не знает и не хочет знать, что в такой, например, стране, как Бразилия, с ее многочисленными водопадами, нет ни одной затерянной на самом краю ойкумены деревушки, где не было бы электрического освещения, а с

ним и миниатюрных телеграфных аппаратов американского производства. У какого-нибудь местного ливанца или сирийца имеется целый склад подобных устройств. Даже самые обездоленные оплачивают эти блага цивилизации при помощи векселей под совершенно ничтожные проценты. Конечно, аппарат доносит до них в первую очередь танцевальные и иные мелодии, но также и кое-что другое. Порой я задаю себе вопрос, не переживают ли обитатели этих медвежьих углов планеты вселенскую драму более остро, чем какие-нибудь французские крестьяне — жители деревень, глубже увязших в трясине черного рынка, нежели латиноамериканцы — в самом что ни на есть непроходимом экваториальном лесу. Ведь нет на свете худшего одиночества, чем одиночество эгоиста или скряги… Да, жители этих медвежьих углов более остро воспринимают вселенскую драму, нежели иные французские лицеисты… В самый канун войны я стоял рядом с бразильскими пастухами (*vaqueiros*), облаченными в разноцветные лохмотья, с кожаным лассо наперевес, с единственной шпорой, прикрученной веревкой к правому сапогу, и слушал речь Гитлера; не дождавшись ее окончания, я вскочил в седло и поскакал к своей небольшой ферме,

располагавшейся в двадцати километрах. Дело было ночью, ужасно сырой и жаркой; по дороге я слышал яростный рык фюрера, доносившийся из крестьянских лачуг, столь убогих, что даже под потоками тропических ливней отец, мать и дети спят в них безо всяких одеял, вытянувшись рядком на слякотной земле.

Вы охотно верите или делаете вид, будто верите, что здесь — или там, или где-то еще, в общем, везде — каждый мечтает исключительно о куске мяса. Между тем, клянусь вам, есть миллионы людей, которых кусок мяса заботит гораздо меньше, чем вы думаете; то ли потому, что они уже давно привыкли обходиться без мяса, то ли — а это случается гораздо чаще — из-за того, что они страшатся гораздо более ужасных невзгод, нежели голод; невзгод, по отношению к которым мы уже почти не испытываем страха и которые мы воспринимаем крайне отчужденно. Следует признать, что подобный страх все-таки начинает пробуждаться в нас; он исходит из самых глубин нашей генетической памяти, когда мы становимся свидетелями все нарастающего авторитаризма со стороны власти, безымянной диктатуры силовых структур, зрелища гигантских концлагерей (в Германии и в России). Однако те, другие, жи-

вущие в своих убогих, с трудом различимых под пальмами лачугах, где хронический голод представляется естественной платой за собственную свободу, — они не так уж плохо разбираются в проблемах современного мира. Они неплохо понимают — много лучше, чем иные сочувствующие коммунистам церковники, — что новый мир, со всем его исполненным гордыни машинно-техническим фасадом, окажется даже хуже того дикарства, воспоминание о котором все еще сидит у них во внутренностях. Они понимают, что грядет эпоха полного отсутствия жалости к бедным, эпоха, единственным законом которой станет экономическая эффективность. Да, они лишь на расстоянии созерцали крушение Европы, но грохот падения надолго отозвался в их сознании. Они больше не верят в Европу, но еще верят в нас; они просят лишь о том, чтобы их вера — которую они неизменно, безоглядно и доверчиво лелеяли в себе по отношению к Европе — перешла бы на нас и только на нас.

Действительно, на протяжении многих лет наши противники в Европе старались представить нас этим людям как какой-то падший народ, неспешно и неохотно двигавшийся по пути прогресса; к тому же недавно этот хваленый

прогресс споткнулся о гору трупов. Им хорошо известно, что прогресс этот — не наше изобретение, что совсем не о таком прогрессе вещали мы людям в ту пору, когда моя страна — на пике своего престижа и могущества — обратила к роду человеческому свое послание надежды и братства. Эти люди полагают, что Франция не успела еще произнести свое последнее слово. Что по своему произволению она может обратить против такого порядка, который на самом деле представляет собой диктатуру разбушевавшейся техники, огромные духовные ресурсы, накопленные ею на протяжении многих столетий; ресурсы, которыми Франция располагает и по сей день. Они говорят себе, что порядок этот Франции чужд; что Франция тщетно пыталась подчинить ему свободное дыхание своего национального гения и мало-помалу истощила свои силы в этой заведомо обреченной на поражение борьбе с самой собой; что ее историческая миссия отныне заключается в том, чтобы не только противопоставить этому порядку свой отказ от него, но и в том, чтобы измыслить какой-то новый порядок — да, измыслить новый, причем продумать его с тем восхитительным сочетанием ума и чувствительности, которое неизменно придавало

жизненную силу новым идеям и приводило к истинной материализации мысли.

Вам не следует ни под каким видом считать, будто нынешние события превосходят человеческое разумение — как если бы у вас не оставалось иного выхода, кроме как претерпевать их… Не в том дело, что события приобрели большую, чем прежде, объемность; дело в том, что сами люди обесценились. Обесценивание человека — феномен, сопоставимый с девальвацией денег. Но не ждите, что обесцененные призна́ют свою обесцененность! Если бы банкнота в тысячу франков могла говорить, она заявила бы, что бифштекс сравнялся в цене с золотом — и никогда не осмелилась бы признать, что она сама девальвировалась и стала стоить не более ста су. Так и обесцененные люди предпочитают переносить свою месть на историю собственного обесценивания. Они все более склоняются к тому, чтобы отрицать историю, видеть в ней всего лишь совокупность исторических неизбежностей. Те, кто не осмеливается открыто призывать к марксистскому детерминизму — скажем, христианские демократы, — те ссылаются на «чаяния масс». Действительно, обесцененные политики, утратившие как совесть, так и от-

вагу, могут полностью потерять контроль над историей. Они виновны не столько в том, что не служили Франции, сколько в том, что не сумели воспользоваться ею, не сумели извлечь из этого потрясающего инструмента ни одной ноты, и это в столь судьбоносный для страны момент. Они продолжают по этому поводу свои распри, им бы хотелось в ущерб Франции оправдать себя, а ведь величайшие орга́ны нашей страны только и ждут легкого прикосновения дружеской руки к волшебной своей клавиатуре, чтобы зазвучать во всю мощь. И тогда их величественный глас вновь заполнит собой всю землю.

Да, действительно, клянусь вам, миллионы людей ожидают, когда зазвучит этот глас. Ожидают не только урожая французских полей, наших полезных ископаемых или продукции французских заводов, но и голоса Франции. И не злобного бормотанья, а разумного и одновременно страстного человеческого голоса, воплощенного слова — в этом переполненном роботами мире…

* * *

Официальный поэт Сопротивления господин Арагон некогда написал в своей книге «Вольно-

думство»: «Я никогда не стремился ни к чему, кроме скандала, и стремился к нему ради скандала как такового». Что касается лично меня, то я нисколько не ищу скандала — скандал сам меня ищет и в некоторых случаях даже находит. Наступает эпоха, когда в полностью охваченном тоталитарным конформизмом мире даже самый невинный текст, позаимствованный из сочинений наиболее толерантных и человечных классиков нашей философии — к примеру, Монтеня или Монтескье, — для болванов прогремит как гром, а для тиранов — как набат. Иногда меня — совершенно безосновательно — считают памфлетистом, поскольку выдвигаемые мною идеи (при всей их скромности) не были поставлены мне каким-нибудь официальным предприятием по производству пищи для ума. Я сам искал их, причем не без труда и риска для себя; возможно, знатоки сочтут их вкус грубоватым — как у собранных в лесу грибов. Свои идеи я привожу в том виде, в каком они появляются на свет; я хотел бы излить их безо всякой задней мысли — даже без задней мысли убедить публику. Кроме того, я наделяю их максимальным смирением, на которое способен.

Действительно, разумный человек не станет

в наше время питать особых иллюзий относительно своего гипотетического воздействия на умы — ведь существует целая технология *лжи*, а истина никакой технологией не располагает.

Оказавшись перед лицом колоссальной пропагандистской машины, разумный человек никогда еще столь сильно, как сегодня, не отчаивался в самом себе и одновременно столь сильно не верил в разум. Ведь разум пользуется людьми разумными постольку, поскольку может выразить себя через их голоса; однако же в разуме заключена некая взрывная сила — взрыв наступает, когда сопротивление болванов побуждает разум достигнуть высочайшей степени напряжения. Именно от этого взрыва разума Франция и ожидает своего спасения и одновременно спасения человечества.

Болваны считают наш мир разумным, поскольку это мир ученых. Между тем опыт показывает нам, что среди ученых имеются полнейшие сумасброды и что наука совершенно не обязательно наделяет своих служителей здравым смыслом и добродетелью. Современный мир бахвалится высоким развитием техники, но на самом деле речь идет о мире, находящемся во власти инстинкта, иначе говоря, разнообразных позывов.

Вот почему он сам по себе ориентируется на эксперименты, которые выглядят столь смелыми лишь потому, что продиктованы не разумом, но инстинктом. Все новые эксперименты — для него предмет тщеславия; его мало интересует, можно ли осуществить на практике тот или иной эксперимент или нет; он кичится тем, что способен победить все трудности при помощи технических средств. Но если подобные эксперименты принципиально невозможно воплотить в жизнь, то никакие технические приемы не позволят довести их до конца; зато они, скорее всего, способны довести их до такой точки, когда последствия экспериментов уже становятся необратимыми. Иначе говоря, род человеческий устремился по тупиковым путям. Только что один из таких путей был проложен ядерной бомбой. Не исключено, что именно эта бомба ознаменует собой решающую победу техники над разумом.

Несомненно, найдутся такие люди, кто не очень отчетливо понимает оппозицию; «техника» — «разум». По крайней мере, они говорят себе: «Разум неизбежно победит технологии, какими бы совершенными они ни были». О, безусловно, разум всегда в конечном итоге будет прав.

Технике никогда не сладить с разумом: на-

против, она может очень уверенно сладить, например, с разумным человечеством; она может разрушить человеческий разум, уничтожив разумное человечество — либо в результате какого-нибудь неудачного эксперимента (который повлек бы за собой катастрофическую аварию), либо же в результате чересчур затянувшейся войны — войны, по ходу которой (эту гипотезу когда-то изложил мне один знаменитый южноамериканский биолог) всеобщее и систематическое использование ядерного оружия приведет к радикальному изменению уровня радиации, так что окружающая среда станет неблагоприятной для жизни. Но эта двойная угроза — еще не самое страшное.

Техника способна извести человечество под корень; она также способна привести к столь сильной его деградации, что оно перестанет заслуживать определения «разумное». О, поверьте, это всего лишь очередная гипотеза — не менее, впрочем, правдоподобная, чем первая. Нас неустанно призывают прикинуть, сколько пользы может принести нам то чудесное изобретение, которое раскрывает нам тайну универсальной энергии. Нам говорят, что энергия эта скоро будет стоить копейки. Странно, почему мы не задаемся

вопросом: с какой стати те, кому поручено доставлять нам эту энергию, станут довольствоваться равномерным ее распределением между всеми людьми? Почему, собственно говоря, несколько тысяч техников, в руках которых сосредоточена энергия, способная взорвать всю планету, станут служить человечеству — вместо того, чтобы подчинить его себе?

На протяжении долгих столетий — со времен учреждения рыцарства, организации городских коммун, роста привилегий и льгот, создания провинциальных парламентов и вплоть до революции 1789 года и Декларации прав человека и гражданина — моя страна неизменно направляла все свои мысли и действия к тому, чтобы обеспечить защиту индивида, постепенное раскрепощение человеческой личности. О да, многие выразят удивление по поводу того, что я в подобном ключе рассуждаю о революции 1789 года и Декларации прав человека и гражданина. Дело в том, что революцию 1789 года, идеалы которой очень скоро оказались преданы тоталитарными зверствами Национального конвента (как в связи с Робеспьером не вспомнить о Гитлере, а в связи с Дантоном — о Геринге?), я всегда воспринимал не как крушение старой Франции,

но как ее дальнейшее совершенствование; старой Франции, окончательно потерявшей голову от уверенности в себе и своей веры в человека. Именно таково было мнение монсеньора графа де Шамбора, который незадолго до собственной кончины писал французским рабочим следующее: «Давайте держаться вместе, и когда вы того пожелаете, мы возобновим великий поход 1789 года». Наша революция родилась из пыли, из тех песенок, которые напевали в то чудное лето — самое солнечное за полвека, как позднее напишет Варанжевиль, — при помощи литра дешевого вина. Не стоит приписывать нам представление о революции как о восстании *мужиков,* на протяжении веков прозябавших в невежестве, рабстве, пьянстве и нищете и воспользовавшихся некими благоприятными обстоятельствами, чтобы разом покончить с тысячелетней историей страны — подобно тому, как нищий бродяга ночью поджигает ферму, где ему отказались подать милостыню. Народ восстал тогда вовсе не против былого угнетения — кстати сказать, волею своих представителей он очень скоро (в ночь на 4 августа) швырнул в огонь собственные привилегии; гениальное предвидение побудило народ убояться угнетения грядущего. И вот сегодня угроза эта

осуществилась. В распоряжении современного государства оказались технологии наиболее мощного инструмента власти, который мог только сниться любому тирану со времени она. Перед нами не что иное, как вызов разуму, и коль скоро он был брошен — стало быть, дрогнула французская философская традиция. Она дрогнула под неудержимым натиском контрцивилизации, которая, чтобы легче было справиться с ней, поначалу прибегла к ее же собственному словарю — а затем немецкая философия наделила эту контрцивилизацию новым словарем.

Я думаю, было бы смешно отрицать происшедшее, руководствуясь соображениями национального престижа. Французская философская традиция дрогнула именно в тот момент, когда перешло в наступление всемирное тоталитарно-концлагерное варварство; французская философская традиция дрогнула, и это означает, что во всем мире человеческая свобода оказалась под ударом. Все сказанное — к чести нашей страны, все сказанное в высшей степени согласуется с нашей национальной историей. Но если мы не вполне с этим согласны, то это обусловлено не столько заботой о престиже Франции, сколько опасением — сознательным или бессознатель-

ным, — что происшедшее наложит на нас новые обязательства. Ведь восстановление французской философской традиции потребовало бы от нас не меньших жертв, чем восстановление экономики, причем речь должна была бы в этом случае идти не только о готовности претерпевать подобного рода жертвы наряду со всеми прочими, выказывая при этом ту своеобразную фальшивую добродетель, которая ныне получила такое широкое распространение и которая именуется пассивной резиньяцией. Нет, нам придется еще и взвалить на себя тяжкий груз этих жертв — не в том смысле, чтобы подставить им спину, а в том, чтобы встретиться с ними лицом к лицу. Да, мы охотно признаем снижение нашей экономической мощи, ибо не можем свести эту напасть к роковым последствиям исторического процесса. Мы также можем трусливо перекладывать друг на друга ответственность; между тем кризис французской философской традиции — факт, напрямую касающийся исключительно нас. Не нам строить машины — мы не в состоянии строить машины без угля; но только от нас зависит, чтобы в этот решающий момент, когда, по мнению не только писателей (вроде меня), но и ученых (привыкших взвешивать свои слова), должна ре-

шиться судьба человечества, Франция поставила бы эту проблему на свой особенный лад.

Почему я должен скрывать то, что совершенно очевидно для всех — и друзей, и врагов? Происходит созидание нового мира; ясно, что он созидается, мягко говоря, в обход принципов и методов нашей духовной традиции. Французская цивилизация была основана на определенном понимании человека, общем для всех наших мыслителей — как верующих, так и неверующих; человека как разумного, свободного существа. Именно эта человеческая свобода, именно эта абсолютная гармония разума и свободы и сообщали человеку сакральный ореол. Так вот, миру, в который нам предстоит войти, — а может, мы уже находимся внутри его, просто дверь за нами еще не закрылась, — неведом тот тип человека, о котором я только что написал. Как бы ни хорохорились бравые французы, стремясь переступить этот порог с напускной беззаботностью господина, который не хочет выглядеть перепутавшим этаж гостем; как бы старательно христианские демократы ни устанавливали при входе наполненную до краев кропильницу (чтобы, входя, можно было благочестиво осенить себя крестным знамением) — ничего не поделаешь, миллионы

взглядов людей со всего мира ныне устремлены на нас, и притом взглядов не любопытствующих, но исполненных тревоги. Не станем обманываться: нынешний мир ни у кого не вызывает доверия. Большинство людей произрастают в нем за неимением лучшего и потому, что мы сами входим в него; люди эти последуют за нами, а стало быть, у них появляются основания в один прекрасный день предъявить нам счет. Мы сколько угодно будем уверять их, что каждый выкарабкивается как может; понимаю, это реалистический образ мыслей, и все народы теперь изъясняются таким же образом; но тут все дело в том, что они никогда ничем другим, кроме как народами, не являлись и не являются. Иное дело Франция — она еще и отечество, и в этом ни на секунду не сомневаются те из нас, кто хоть немного путешествовал по свету и при этом думал не только о своих мелких заботах… Отечество, то есть нечто гораздо большее, нежели политическое и экономическое устройство страны, которое все увереннее подменяет собой современное государство — или, во всяком случае, то, что мы именуем государством; современное государство — наполовину ростовщик, наполовину полицейский; с его всевидящим оком и запущенной во все

карманы рукой. Отечество — то есть некое нравственное существо, обладающее своими правами и своими обязанностями, которое может просить о чем угодно, но не смеет требовать чего угодно — во имя того же закона, который регламентирует деятельность животных, жертвует пчелу улью, а индивида — виду. Отечество, отечество людей — да, вот чем все еще остается Франция для миллионов не-французов. Они соглашаются с той точкой зрения, согласно которой у современного народа обязательств не больше, чем у младенца (быть здоровеньким, прибавлять в весе); согласно которой для националиста лучший из миров — или наименее скверный — тот, где каждый народ, пухленький и сытый, сидя на своем горшке, скажет другому поверх пограничных барьеров (держа при этом палец на спусковом крючке автомата) ту самую знаменитую фразу, которую один персонаж Пруста вставил в обращенное к собственному слуге письмо, полагая необходимым выказать уважение подчиненному и одновременно не забывать о собственном достоинстве: «Чувствую себя хорошо…» Они признают все это, потому что не считают себя обязанными поступать по-другому; признают ради них самих, но не ради нас. И это противоречие делает честь

их здравому смыслу.

Если Франция — это отечество, в том смысле, в каком встарь трактовал это понятие христианский мир, то священный эгоизм не может стать для нее ничем иным, кроме как очковтирательством, по меньшей мере в определенных обстоятельствах (а обстоятельства эти как раз и являются самыми ответственными). В данных обстоятельствах как националисты, так и интернационалисты рискуют впасть в грубую ошибку. Так, когда правые националисты, ненавидевшие Советскую Россию, в период абиссинской войны или так называемого крестового похода франкистов провозглашали абсолютный приоритет национальных интересов, они тем самым действовали вразрез с национальными интересами Франции; они морально разоружали ее в пользу национальных интересов тех держав, которые располагали большей по сравнению с нами мощью; при этом они и думать не думали о том, что в один прекрасный день наибольший вес получат национальные интересы СССР. И то сказать: чем, собственно, заняты нынешние коммунисты, как не пережевыванием тех же самых аргументов, что приводили недальновидные представители правых в 1935-м, а затем и в 1938 году; они ведь

и меня призывали подходить реалистически к фашистско-нацистской экспансии — а то ведь я, не дай бог, прослыву подстрекателем войны. Да, идея отечества носит религиозный характер; христианство полностью перенесло ее в план трансцендентного.

Любовь к отечеству, как и любовь к Богу, основана на добровольном самопожертвовании. Так вправе ли отечество требовать от кого-то большего, нежели требует Бог, — а ведь Он желает, чтобы ему лишь служили, но не раболепствовали перед ним? Если мы осознáем все это, мы поймем, что правый национализм вовсе не так уж резко противостоит левому антипатриотизму.

Приверженцам христианских воззрений вроде меня, которые вместе с Пеги (но также и вместе со святым Людовиком и с Паскалем) полагают, что самой страшной бедой для нашей страны было бы ее скатывание «к состоянию смертного греха» в результате вполне осознанных неправедных действий, даже если они и мотивированы некоей выгодой, — так вот, приверженцам этих воззрений в равной степени чужды и марксизм, и фашизм. По мнению сторонников обеих названных доктрин, у народа вообще нет отечества; народ — это государство, и коль скоро

коммунист намеревается в надлежащий момент воспользоваться государством как необходимым инструментом для того, чтобы сломить всяческое сопротивление диктатуре пролетариата, — он имеет столько же оснований стать националистом, сколько Баррес и Моррас. В христианском представлении об отечестве ему ненавистно его подчинение идее благодати, закону милосердия. Боюсь, у многих людей от всего этого осталось лишь какое-то смутное воспоминание, как о некоем блестящем парадоксе. Нет и еще раз нет! Подобного рода представление об отечестве на протяжении многих столетий было свойственно всему христианскому миру. Ограничимся одним лишь примером: на протяжении столетий принцип обязательного призыва на военную службу мог бы показаться людям чем-то чудовищным и одновременно смехотворным. Национальный конвент, приняв декрет об обязательной военной службе, предал основы нашей цивилизации и заложил фундамент тоталитарного мира. Если достаточно одного декрета, чтобы все без исключения граждане сделались собственностью государства, то почему бы им не принадлежать этому государству на протяжении всей их жизни, от рождения и до самой смерти? Потому-то

приверженец антипатриотических взглядов с легкостью может превратиться в фанатичного националиста и при этом сохранит убежденность в том, что отечество — не более чем опасный предрассудок, способный ограничить права государства. Господин Арагон писал в свое время в пятом номере журнала «Сюрреалистическая революция»: «Еще большее отвращение, нежели патриотизм — эта разновидность обычной истерии, но более бессмысленная и более смертоносная, чем другие, — у нас вызывает идеал отечества». Правый националист — более проницательный, чем все прочие, — исходя из этого заявления, уже мог бы прийти к выводу, что такого рода антипатриотическое кредо ни в коей мере не перекрывает автору этих слов дорогу в национализм левого толка.

Бесспорно, национализм цветет ныне пышным цветом во всем мире. Я имею в виду национальный эгоизм в его наиболее уродливых и подчас наиболее комичных формах, поскольку царящая во всем мире сумятица в конечном итоге упраздняет само представление о стыде. Хотя человечество еще не расчеловечилось полностью, но прожорливые, ненасытные, готовые разделаться друг с другом государства — диплома-

тические договоренности с трудом удерживают их от резких движений, подобно тому, как изголодавшихся псов удерживает кнут псаря, — больше напоминают не людей, а зверей. Никогда еще христианское представление о братстве разных народов, которое кружило голову величайшим университетским ученым средневековья, не подвергалось такому поруганию и забвению; однако слабые отзвуки этой идеи, что еще живы в человеческих сердцах — во всяком случае, в тех странах, которые испытали глубокое влияние французской культуры, — таинственным образом остаются связаны с именем Франции, французской традицией, духом Франции…

Господи, мне бы хотелось поведать о стольких предельно простых вещах на столь же простом языке, но я опасаюсь, как бы мои слушатели — утомленные и пресыщенные мерзкой пропагандой, от которой их уже с души воротит, — не отнеслись к сказанному мной без должного внимания. Те чувства, о которых я говорю, не из тех, что собирают толпы на площадях; они, например, не имеют ничего общего с переживаниями южноамериканца иностранного происхождения, которые он может испытывать в отношении той страны, где родились его предки; эти чувства

естественным образом выливаются — когда представится случай — в различные шумные мероприятия, демонстрации и размахивание флагами. Те люди, которых я пытаюсь понять и приблизить, никак не связаны с нами в расовом отношении, и те чувства, которые они питают по отношению к нашей стране, — из тех, что им хотелось бы держать при себе. Им особенно сильно претит выражать эти чувства в присутствии французов — увы, они ведь опасаются, что вызовут у них смех и прослывут болванами. Из всех возможных собеседников им менее всего хотелось бы что-то сказать на сей счет какому-нибудь более или менее увешанному наградами господину, который пересек океан с тем, чтобы заявиться перед ними и начать нахваливать свою страну, как коммивояжер нахваливает ту или иную марку мыла — с напускным добродушием, сердечностью, скромностью и победными славословиями в отношении новинок сезона. Вот почему столько моих коллег возвращаются из дальних странствий не то чтобы разочарованными, но обманутыми… Ведь лектор, как вы знаете, никогда не чувствует себя обманутым — для этого существуют организаторы лекций; если лектору аплодируют — стало быть, все в порядке. А если

не аплодируют, то исполненный сострадания организатор заявляет ему за кулисами, что называется, на юру, но с торжественным рукопожатием: «Великолепно! Они с самого начала и до конца слушали как зачарованные. Вы даже не оставили им времени на аплодисменты!» Так что лекторы не испытывают никакого разочарования, зато случайно оказавшиеся там французы — и даже не только заезжие гости, но и те гастролеры, кто стремится не терять ни минуты, которым совершенно наплевать, поняла их аудитория или нет, а тем более наплевать, поняли ли они сами что-нибудь или нет, — по возвращении оттуда констатируют: «Нам говорили, будто тамошние жители любят французов; и с чего только они это взяли!» Но в том-то и дело, что любят там не нас. Более того, и говорить о Франции там особенно не стали бы — ведь местные жители сразу поймут, что мы с ними говорим на разных языках. Мы с большим сомнением относимся к подобной сдержанности; мы обращаем на нее внимание лишь с тем, чтобы убедиться, что «они ничем не лучше нас» и что «нам у них учиться нечему». Может, они и впрямь ничем не лучше нас, но ведь им как раз и нужно, чтобы мы были лучше их. Франция наделила их этой потребностью

— потребностью в определенного рода величии, особом типе величия — простом, человечном и доступном любому человеку доброй воли. Они полагают — по праву или нет, — что нашли тайну этого величия именно в нас, в нашей истории, или по меньшей мере в том, что им известно о нашей истории, то есть в легенде о Франции. Даже если они ничем не лучше нас — ну что ж, какая разница, нам не в чем себя упрекнуть. У этих людей нет собственной легенды; точнее, они предпочли нашу легенду своей. У нас-то своя легенда есть, Франция распечатала этот чек еще задолго до нашего рождения. Чего же вы хотите? Среди множества других отечеств, в эпоху, когда отечества еще существовали — ведь современные народы, повторяю это еще раз, почти что не заслуживают названия «отечество» и похожи на отечества не более, чем бешеная собака похожа на здоровую, — в эпоху, когда отечества еще существовали, Франция являлась важнейшим из отечеств, более отечеством, чем другие, более открытым, более толерантным, более кротким; естественно поэтому, что миллионы людей в тяжкой юдоли своей думают именно о ней. Если вы полагаете, что они думают о Франции как о дорогой любимой женушке или о каком-ни-

будь произведении искусства, это означает, что я так и не смог довести до вас свою позицию. Они думают о нас не как о своем единственном шансе на спасение — полагать так было бы недопустимой наивностью. Очень часто, слишком часто они размышляют о том, что французская цивилизация ныне превратилась в прекрасное воспоминание о прошлом — не более того; стала потерянным раем в нашем жестком мире — мире, который неизбежно становится миром без отечества, коль скоро в нем утрачено оказалось братство; о том, что у Франции не осталось ныне другого выбора, кроме как исчезнуть или отринуть самое себя. Они неизменно близки к тому, чтобы смириться с этим миром; они пытаются загодя приспособиться к его волчьим законам — и при этом не вполне отдают себе отчет, что единственный способ заполучить реалистическое сознание заключается в том, чтобы вообще отказаться от него… С учетом того, что морализм американцев или цинизм марксистов привел этих людей в некое депрессивное состояние, вы с легкостью побудите их признаться, что цель в политике оправдывает средства; но все-таки и эту истину они охотнее объявят не французу, а представителю какого-нибудь другого наро-

да. Если же француз одобрит их образ мыслей, дружески потреплет по коленке и назовет их людьми, свободными от предрассудков, — тут они придут в смущение. Мы даже не в состоянии представить себе, с каким странным выражением лица слушали они в 1940 году вишистского чиновника, сообщившего им о перемирии с немцами… Дело в том, что на их обостренный слух устами этого чиновника изъяснялась сама легенда — наша национальная легенда, чертова легенда, совершенно искажавшая чиновничью аргументацию — до такой степени, что они становились какими-то гротескными, словно человеческие силуэты в тумане. Сколь бы им ни толковали о победе под Верденом — перемирие все-таки скорее напоминало им Ватерлоо. Я имею в виду, конечно, легенду о Ватерлоо. Ведь понадобился ни много ни мало престиж тысячелетней истории нашей страны, чтобы эпизод этот — в общем-то, ничем не выдающийся по сравнению с другими — стал своего рода универсальным народным мифом. Тысяча лет, и плюс к тому этот проклятый папаша Гюго — который сам по себе является воплощением французской истории, со всеми его десятками тысяч александрийских стихов и знаменитым романом «Отверженные»,

который, быть может, ни один француз из тысячи и не дочитал до конца, но который столь же повсеместно знаменит, как и Эйфелева башня… Одним словом, функционер из Виши попусту тратил свое красноречие. Ах, сколь тернистый путь выпал на долю наших легенд… Когда я использую слово «легенда», то делаю это за неимением лучшего, ведь легенда чаще всего годится лишь на то, чтобы пленить воображение. Легенда о Франции неизменно пленяла воображение людей; она защищала их, покровительствовала им, а иногда и спасала их.

Боже, коль скоро французы не могут без отвращения соглашаться с тем, что можно таким образом верить в их страну, — это означает, что сама идея верности Франции предстает перед ними в кривом зеркале. Они гораздо охотнее могли бы представить себе легенду о Франции, основанную исключительно на литературных авторитетах. Они и не стремятся знать, что история столь огромной страны имеет глубокие корни, уходящие глубоко под землю; что мышление великого народа — не какая-то там абстрактная идеология, но живая пища, а ее влияние — своего рода оплодотворение. Приведу один пример, который поможет им немного яснее

разобраться во всем этом. Бразилия предприняла исключительно интересный человеческий эксперимент, который уже близок к завершению; ей удалось за относительно короткий срок сплавить воедино, в один народ столь разнообразные этносы, как черная, красная и белая расы. В самый критический момент этого опыта, то есть в середине XIX века, для многих тысяч молодых метисов моя страна в первую очередь являлась ответчиком, гарантом, великолепным залогом. Молодые люди, которых я имею в виду, чаще всего рождались на свет в результате внебрачных связей богатых португальских плантаторов с красавицами-рабынями. Эти сахарные и кофейные бароны, эти владетели плантаций какао чаще всего привязывались к своим незаконнорожденным отпрыскам и давали им приличное образование. Но если законные дети отправлялись за карьерным ростом в Европу, а точнее, в Коимбру, то бастарды обыкновенно учились в более скромных заведениях в самой Бразилии, причем учителями их обыкновенно становились французы. Когда в 1822 году Бразилия отделилась от Португалии и обрела самостоятельность, этим миллионам молодых мулатов — составлявшим своего рода бразильскую «интеллигенцию» — в

спешном порядке пришлось поставлять кадры для службы в администрации, для военной службы, для крупнейших правящих партий. Но еще на протяжении долгих лет им пришлось бороться с недоверием, а то и враждебностью со стороны обеспеченного португальского общества, представители которого отказывались выдавать своих дочерей за мулатов. Ну и что с того! Ведь они почитали за честь принадлежать (благодаря полученному им образованию) к народу, который казался им величайшим в мире, и это обстоятельство перевешивало в их глазах презрение со стороны португальцев. Они считали себя воплощением французского разума; они были частью Франции; они прилагали все усилия к тому, чтобы принадлежать ей духовно; они учили своих детей основам Франции, как учат основам религии. Франция и впрямь являлась для них своего рода религией — ведь она провозгласила приоритет свободы мышления во вселенском масштабе, а также равенство всех без исключения свободных людей. В общении с нами эти люди не занимались передергиванием; они не ждали от нас слов утешения по поводу своего уязвленного тщеславия; да и не тщеславие тут было задето, но их достоинство, их честь. А ведь

именно французская традиция гарантировала им это достоинство и эту честь. Мы по-братски помогали им не сомневаться в самих себе, ведь у столь чувствительных и нервных людей, как они, вызванный подобными сомнениями комплекс неполноценности очень часто принимал вид патологии, навязчивой идеи. Как много молодых бразильских интеллектуалов той поры покончили жизнь самоубийством! Именно надежда на Францию помогала им справиться с отчаянием. О нет, сказанное мною — опять-таки не чистая литературщина! В один из самых мрачных периодов Второй мировой войны, когда я проездом находился в Рио, один из самых знаменитых ныне бразильцев (он слишком известен, чтобы я мог позволить себе назвать его имя) как-то вечером заявил мне со слезами на глазах (по радио как раз заканчивалось выступление маршала Петэна, с его блеющим голосом): «Похоже, французы ныне и сами пришли в отчаяние, а ведь у них всегда находились силы вселить надежду в род людской. Они станут походить тогда на того скупца, который умирает от голода на набитом купюрами матрасе… Похоже, Франция не отдает более себе отчет в том, сколь остро все человечество на протяжении стольких веков нуждалось именно

в ней. И конечно же, еще больше далека она от понимания того обстоятельства, что и мы сами многим ей обязаны. Мне бы хотелось, чтобы однажды вы сообщили об этом Франции. Не подлежит сомнению, что в определенный момент нашей истории лучшие из нас могли задаться вопросом: не обречен ли на провал предпринятый нами расовый эксперимент? Не станет ли смешение кровей фатальным для нас? Ведь нашу молодежь, в особенности молодую интеллектуальную элиту, прямо-таки косила чахотка, причем врачи объясняли невероятно высокую смертность среди туберкулезных больных нашей слабой нервной сопротивляемостью, связанной именно со скрещением рас. Да, наши лишь недавно вышедшие из отроческого возраста молодые люди казались не менее счастливыми, чем все прочие; но при первых признаках грозной болезни они капитулировали и не столько умирали, сколько позволяли смерти себя одолеть. Разумеется, у них были свои резоны продолжать жить — кроме одного, который им предоставила именно ваша страна. Когда старая португальская культура — а ее хранителями выступали учители прежних времен — деградировала до стерильного конформизма, они увлеклись французской философской

традицией, которая представлялась им воплощением одновременно и свободы, и дисциплины, да и чего-то большего: приключения, пьянящего приключения. Учитывая влияние душевного тонуса на физическое состояние, трудно не признать колоссальный масштаб той поддержки, которую оказали нашей стране ваши мыслители и поэты».

Я стараюсь как можно точнее привести слова моего приятеля. Уверяю вас, общий их смысл сохранен, но вот что я не в состоянии передать, так это особое их значение для меня. Ведь то был престарелый государственный муж, обыкновенно весьма щепетильный в том, что касается соблюдения тайны своих сердечных переживаний; в день, когда объявили перемирие, он прикинулся больным и заперся у себя дома; лишь два дня спустя он вновь обрел хладнокровие и опять предстал с непроницаемым лицом на официальных приемах, куда захаживали и враги моей страны. «Что вы хотите, — добавил он, — мы, конечно, понимаем, что ваше правительство сейчас стремится выйти из игры, но вот этот меркантильный подход совсем не вяжется с образом вашей великой страны — она, по сути дела, не может выйти ни из какой игры, поскольку пол-

ностью вовлечена во все происходящее на свете… Я не солдат и не поэт; я скорей сойду за весьма жесткого реалиста, так что девиз вроде „лучше умереть, нежели сдаться на милость врагу“ не может вызвать у меня мгновенное одобрение. Тем не менее по зрелом размышлении я спрашиваю себя: а может, этот девиз все-таки вам вполне подойдет, может, он гораздо менее опасен, чем другой, внешне более разумный: „Лучше сдаться на милость врагу, нежели умереть“. Предпочтя смерть сдаче, вы чувствуете себя как нельзя лучше; а вот если вы предпочтете сдаться, не исключено, что вы все-таки умрете». После долгой паузы, закрыв лицо руками, мой старый друг заключил свою тираду словами, которые и теперь, много лет спустя, бесконечно волнуют меня и, может статься, побудят к размышлению кого-то еще: «И вот что нас крайне угнетает, Бернанос: если, не приведи бог, Франция вдруг отречется от самой себя, мы окажемся обречены на выживание ценой отречения от нас самих — в том мире, где Франции уже не будет».

Вовсе не для того, чтобы воздействовать на ваши эмоции, я пытаюсь вспомнить сейчас об этих миллионах людей, для которых французская философская традиция на протяжении столе-

тий являлась чем-то гораздо бóльшим, нежели сердечная предрасположенность или духовное развлечение, — она являлась Французской Цивилизацией с большой буквы, целостным представлением о жизни. Мы несем ответственность за эту цивилизацию, мы несем ответственность за этих людей — точно так же, как мы несем ответственность за нашу империю. Фразы типа: «Увидим позже, когда будет время» или: «Все это прекрасно, но сегодня это не годится» совершенно неуместны. Это вы сами не годитесь. Миллионы людей мысленно слились с нами, миллионы людей нашли себе убежище за невидимыми границами французской культурной общности — так, будто они искали это убежище в тени нашего национального флага. Если бы мы оставили наши духовные позиции, мы бы предали этих людей врагам. И это вовсе не метафора. В мире, где торжествует один-единственный принцип — принцип экономической эффективности; где колоссальная пропагандистская машина, работая день и ночь без передышки, подменяет рассуждение механическим вдалбливанием готовых истин, убеждение (ради которого шли на смерть мученики) — автоматизмом (который нуждается в палачах); в таком мире те, кто искренне верил

в царство свободы и братства, не могут ожидать для себя иной участи, кроме как сделаться беззащитными жертвами. Мы бы предали этих людей, как вишистские мошенники когда-то предали в лапы Гитлера наших антифашистов и как их оппоненты слева предали затем троцкистов в лапы Сталина. Люди, о которых я говорю, пока еще колеблются — стоит ли им переступать порог враждебного мира. Они еще не вошли в него, они наблюдают за тем, как мы мало-помалу приближаемся к нему; они ждут от нас хотя бы слова, хотя бы знака. Но что это за мир и почему он им враждебен?

Мне уже не терпится приступить к самому главному, к самой сути того послания, которое французы должны ныне адресовать тем людям, кого их культурная традиция защищает гораздо меньше, чем нас, французов, от некоторых ошибок (французы и сами смогут освободиться от них лишь ценой упорных усилий). Да, в наше время даже элементарное мыслительное усилие с каждым днем становится все более трудным делом, поскольку формирующийся на глазах концлагерный мир, в котором нам приходится жить, вынуждает нас к массовидному мышлению, и все это благодаря фантастическому развитию

той самой пропаганды, перед лицом которой свободная мысль оказывается в ситуации, сходной с беспомощностью скромнейшего ремесленника перед лицом крупной промышленности. Да, если мы не примем никаких предупредительных мер, настанет время, когда претензия человека на свободу мышления покажется чем-то не менее абсурдным, нежели иллюзия какого-нибудь наивного автомеханика, который принялся бы пытаться вручную изготовлять автомобили с целью составить конкуренцию господину Форду. Причины, кстати, в обоих случаях одни и те же. Ведь свобода мышления стоит чрезвычайно дорого, а в некоторых странах она вообще бесценна — она стоит человеческой жизни.

Подобного рода двойная зависимость свободного мышления и свободного труда от коллективного сознания становится в наше время феноменом всеобщего характера. Так что здесь нет оснований говорить о социально-политическом кризисе — речь идет именно о кризисе цивилизации. Более того, теперь уже совершенно бесполезно противопоставлять диктатуры демократическим странам — ведь и в демократических странах имеет место экономическая диктатура (и нет гарантии, что она так и останется экономической).

Мне, по правде говоря, даже как-то затруднительно произносить само это слово: «демократия». А что бы вы хотели? Я прошел войну 1914 года — и прошу вас меня извинить; служил я не в штабах, а носил, как и Гитлер, лычки капрала (хотя перед ним открывались более блестящие, чем у меня, перспективы). Так что с 1914-го по 1918 год я повидал много людей, отдавших свои жизни за демократию. В 1941 году двое моих сыновей и племянник (которого я люблю как сына) покинули Бразилию и перебрались в Лондон, чтобы, в свою очередь, принять участие в войне. Так что и им пришлось повидать много жертв за демократию… Быть может, именно поэтому само это слово уже не внушает их поколению того священного трепета, который оно внушало нам.

Как я уже отмечал в самом начале, кризис цивилизации — это именно тот феномен, в который каждый француз ныне просто обязан пристально всмотреться, дабы получить о нем ясное и четкое представление.

Словосочетание «кризис цивилизации» может трактоваться двояко. Имеем ли мы дело с новой цивилизацией, находящейся в процессе становления? Или же речь идет о кризисе именно человеческой цивилизации — то есть

о настоящей болезни цивилизации? Из этих двух гипотез болваны единодушно отдают предпочтение первой. То есть я не утверждаю, что все, кто склоняется в пользу первой гипотезы, болваны; я только утверждаю, что все болваны выбирают именно ее; это не одно и то же. Болваны потому отдают ей предпочтение, что это наиболее легкое решение — иначе говоря, оно не побуждает ни к каким действиям. Если мы согласимся с тем, что невозможно двигаться вверх по течению, — ну что ж, каждому остается только стянуть с себя штанишки и плыть по воле волн. Кто-то располагается на самой середине реки, которая неумолимо влечет свои воды к тоталитарно-концлагерному Океану; таким образом им удается плыть быстрее и прийти к финишу первыми. Другие же — вроде христианских демократов — плывут как можно ближе к берегу, где течение не слишком быстрое; они нарочно запутываются в прибрежных травах, барахтаются в каждом затоне и постоянно делают вид, будто что-то потеряли, — для того, чтобы получить от товарищей марксистов разрешение вернуться и поискать это что-то.

Но я не из тех, кто привык плыть по воле волн. Может, потому, что я не умею так хорошо пла-

вать, как господин Бидо. Ну и ладно! Полагаю, цивилизации созданы для людей, а не люди для цивилизаций. Здесь я должен извиниться, что опять прибегаю к слову «цивилизация». Я делаю это за неимением лучшего; ведь, как мне представляется, слово это имеет чересчур широкий, чересчур универсальный смысл, чтобы применять его к опыту, о котором мы еще не можем сказать, будто он не удался, — ведь полный провал такого опыта будет означать вселенскую катастрофу. Да, это именно опыт. Эта так называемая цивилизация вовсе не претендует на то, чтобы стать для человека укрытием, — нет, *она пользуется им как ставкой в собственной игре.* Не я это сказал, а господин Эйнштейн, видный ученый, который привык взвешивать слова. Во всем мире сейчас наблюдается волна недоверия по отношению к так называемой цивилизации, недоверия, переходящего в своего рода ступор. Откуда она вообще взялась? Куда она идет? Куда она нас ведет? Миллионы людей с тревогой спрашивают себя, что станется завтра с этой механической цивилизацией, которая — двигаясь от одного механизма к другому — в конце концов пришла к сногсшибательному изобретению: она изобрела механизм, способный истребить все

прочие механизмы. Что станется с цивилизацией, которая выдает себя за массовую и которая, заполучив атомную бомбу, располагает теперь мощнейшим средством уничтожения этих масс из всех когда-либо придуманных человеческим разумом. Стало быть, речь идет об атомной демократии. Но ведь это же курам на смех! А может, наряду с избирательным бюллетенем следует вручать каждому избирателю по бомбочке?

Я спрашиваю себя: а почему, собственно, Франции следует сейчас солидаризоваться с подобной цивилизацией, почему она должна ввергать в этот абсурдный эксперимент — абсурдный, ибо необратимый — свою традицию, свою культуру, которые по сути своей полностью противоречат такого рода представлению о мире? Исходя из этой традиции и этой культуры Франция, напротив, является единственной в мире страной, способной заявить миру, что такого рода цивилизация не заслуживает даже названия «контрцивилизация», что она скорее представляет собой тяжкий недуг вселенской цивилизации. В то же время было бы нелепо отказывать ей в названии «цивилизация»: ведь не станет же врач называть пораженную диабетом печень каким-то иным словом. Печень диабетика — тоже печень,

но такая, от которой диабетик вполне может умереть. Избыточное содержание сахара в крови — следствие органических нарушений в деятельности печени. Избыток механического начала, характерный для тоталитарно-концлагерного общества со всеми порождаемыми им негативными явлениями, — следствие органических нарушений в деятельности человеческой цивилизации, и не моя вина, что этот механический диабет кому-то хочется назвать цивилизацией, хотя он-то как раз нацелен на уничтожение цивилизации.

И я здесь вовсе не перехожу на «язык политики», как теперь стало модно говорить. Я вовсе не собираюсь противопоставлять капитализм марксизму и исхожу из того, что капитализм и марксизм — две стороны или, если хотите, два разных симптома одной и той же материалистической цивилизации; цивилизации, завоеванной материалистическим началом подобно тому, как тучный мужчина заплывает жиром, — если, конечно, мне будет позволено продолжить мои медицинские аналогии (при этом я рискую быть привлеченным медиками к ответственности за незаконную медицинскую практику). Капиталистический либерализм, как и марксистский

коллективизм, превращает человека в своего рода промышленное животное, подчиняющееся детерминизму экономических законов. «Подчиняющееся детерминизму экономических законов» — эта формулировка настраивает нас на угрюмо-философский лад и рассеивает внимание. Между тем смысл формулировки крайне прост, и вот как можно его расшифровать: человек, подобно любому другому живому организму, живет лишь ради своего благополучия; для него не существует ничего более ценного, чем его собственная жизнь, а в его жизни для него нет ничего более ценного, чем наслаждение. Увы, слишком часто дело обстоит именно так. Но даже если в одном случае из ста — да что там, в одном случае из ста тысяч, в одном случае из миллиона — дело обстоит иначе, этого уже достаточно, чтобы доказать: человек — существо, способное возвыситься над самим собой. И тогда что капиталистический, что марксистский миры оказываются всего лишь разными вариантами неудачного эксперимента — неудачного, ибо основанного на неверном понимании человека. Или эксперимент не удается вообще, или он низводит человека до такого уровня, когда эксперимент может быть продолжен любой ценой.

Так что первым делом следует выяснить, кто одержит победу — техника или человек.

Позволю себе предположить, что Франция сделает ставку на человека, и миру скоро предстоит узнать об этом. Да, рано или поздно (раньше, чем некоторые думают) Франция откажется снова ввязываться в ту адскую круговерть, в которой она чуть было не погибла, — я имею в виду ничем не ограниченное производство ради ничем не ограниченного разрушения. Нет, не на французской земле возникло техническое варварство. Первыми цивилизацию хлопкопрядильных станков стали создавать манчестерские торговцы хлопком; они создали ее, сами не понимая, что творят; одновременно они создали, также не ведая того, английскую империю. Они-то всего лишь хотели заменить французское ремесленное производство шерсти на английскую хлопковую промышленность — дальше этого их воображение не простиралось. Станки приносили выручку, на эту выручку приобретались новые станки; адский круг таким образом замыкался. И только лишь около полувека спустя материалистическая цивилизация обрела свое философское объяснение в трудах Маркса и Гегеля, в немецкой философии — а не во французской. Да, француз-

ская философская традиция дрогнула, но она не была отброшена. Ни Бергсон, ни Валери марксистами не являются; марксистской философии во Франции вообще не существует.

Мои мысли снова и снова обращаются к миллионам людей, которым ныне грозит серьезная опасность: за ними вот-вот может опуститься железный занавес и они окажутся в мире полной несвободы. Эти миллионы людей верят в нас и надеются на нас. Но я думаю и о тех, кто в нас не верит. В тех, кто бросает вызов нашей философской традиции и нашей мощи, кто в своем безумном ослеплении делает ставку на тот самый мир, который я только что разоблачал; на тот самый мир, где им неизбежно придется сгинуть. Ведь у отдельных народов, как и у отдельных людей, есть собственное призвание. Одни народы созданы для свободы — либо в силу того, что они чересчур сильны, чтобы смириться с нынешним рабским положением; либо, наоборот, чересчур слабы, чтобы сопротивляться (в том числе и физически) тем тяжелейшим испытаниям, которые этим положением вызваны. Как сильные, так и слабые принадлежат к благородной расе — ведь по примеру благородных животных они гибнут, будучи не в силах жить соответствен-

но своим инстинктам. Вот этим-то миллионам людей — друзей или врагов — Франция может заявить, что ее судьба соединена с их судьбой, ее свобода — с их свободой. Да, разумеется, у этих людей есть основания сомневаться в намерениях Франции, как и ей случается сомневаться в их намерениях; ведь испытания наложили на нас свой отпечаток, исказили наш облик. Они перестали узнавать Францию. Но ведь и некоторые из французов перестали узнавать свою страну. Чтобы ее узнать, следует попытаться разглядеть ее в контексте ее истории — то есть ее духа; случается, она и сама не в состоянии разглядеть себя. Ну и ладно! Народ познается по его элитам. Народ невозможно познать исходя из массы. Народные массы Франции, которые в 1940 году отказались вести войну, — это те же люди, кто ныне испытывает соблазн отказаться от империи, то есть от даруемой ею чести, от налагаемых ею обязательств и рисков. Если иные парламентские клоуны за подобного рода рассуждения осудят меня за нанесение ущерба престижу страны — на здоровье. Защищая эти массы — которые ведь одновременно являются избирателями, — они защищают исключительно свои собственные профессиональные интересы. Все мы знаем,

что империя отнюдь не была творением масс избирателей — ее создала небольшая горстка героев (точно так же произошло, кстати говоря, и с Сопротивлением). От тех же людей — от людей, которые на них похожи, — мы сейчас ожидаем спасения. Нашего спасения, а также спасения миллионов людей. Франции надлежит в первую очередь собрать их всех и вернуть боевой дух. Ей надлежит ясно дать им понять, что внушающая им такое уважение колоссальная организация стремится к саморазрушению, ведь она вот-вот обратит на саму себя те фантастические вооружения, которыми она располагает. Тоталитарная цивилизация — недуг утратившего духовное начало человека, подобно тому как зоб является недугом лишенного витаминов больного. Те, кто хотел бы конфисковать эту цивилизацию и прикарманить ее, очень хорошо знают об этом. Вот почему они осмеливаются превратить эту цивилизацию в перманентный заговор против внутренней жизни. Однако мы хотели бы обратить здесь внимание на одно противоречие, аналогичное тому, о котором мы писали выше. Цивилизация, порождающая катастрофы, одновременно рождает в человеке (через страдания) ту внутреннюю жизнь, которую, как ей казалось,

она была способна уничтожить. Мы-то (будь то христиане или мусульмане) знаем, что страдание есть источник преображения, истинное сверхтворение.

Для миллионов людей сейчас возникает вопрос: в каком мире им придется жить? Я с полной уверенностью могу заявить, что мир этот будет либо немецким, либо французским. Совсем не случайно как Германия, так и Франция в этот решающий исторический момент утратили часть своей былой экономической мощи — в пользу экономических супергигантов, вовсе не соответствующих тем представлениям, которые обыкновенно у нас возникают в отношении настоящих отечеств. Любому мыслящему человеку уже ясно, что Америка и Россия противостоят друг другу скорее в экономическом, нежели в идеологическом смысле; народ, структурируемый на основе трестов, всегда рискует внезапно оказаться под гнетом тоталитарного режима. Россия все более упорно стремится создать тип рабочего с наибольшей производительностью труда, как можно более сходного с рабочим из Детройта. В свою очередь, рабочий из Детройта, состоящий в профсоюзе, или крестьянин из какого-нибудь крупного американского кооператива

не слишком-то сильно отличается от сталинградского рабочего или советского колхозника. Попробуем теперь выразить в самом общем виде особенности мира будущего, рискуя при этом вызвать недоумение у кого-нибудь из философов: можно считать, что мир этот окажется либо картезианским, либо гегельянским. Никогда еще на моей стране не лежала столь масштабная ответственность. Но мы заранее знаем, что французская философская традиция не капитулирует.

* * *

Ныне Франция подвергается самому большому за всю свою историю риску, и нет оснований этот риск отрицать. Теперь уже не в наших силах отвести его от себя, как мы отвели его от себя в Мюнхене и Ретонде[7]. Нам надлежит принять его как должное, заглянуть ему в лицо — именно этого ждет от нас Франция. Ведь мы — еще не Франция; точнее, мы — воплощение той недолговечной и хрупкой Франции, которая вскоре окажется под землей. Нет ничего проще дока-

[7] Примечания: 7

В Ретонде под Компьеном 22 июня 1940 г. было подписано перемирие между Германией и разгромленной Францией. Двумя десятилетиями раньше, 11 ноября 1918 г. там же состоялось подписание перемирия между странами-союзницами и побежденной Германией.

зать, что мы не являемся Францией: она и без нас продолжит свое существование. В результате миллионы людей во всем мире считают, что вполне искренне сомневаются в возможностях Франции, а на самом-то деле сомневаются они именно в наших возможностях. Они полагают, будто сомневаются во французской мощи, а на самом деле просто задаются вопросом: да способны ли мы еще пользоваться этой мощью; не выроним ли мы эту мощь из наших слабых рук? Для меня подобное разграничение всегда было первостепенным. На свете есть короли-посредственности; представьте себе, что на одного из них, взошедшего на трон в 1918 году, ныне возложат ответственность за упущенные плоды нашей тогдашней победы, за крушение нашего военного могущества, за ту угрозу, которая нависла сейчас над империей! Осмелюсь предположить, что в этом случае с таким королем будет покончено и в историю он сможет войти лишь в качестве мерзкого недоумка. Разумеется, при демократическом режиме королей не бывает, но королевства-то есть. Правившая на протяжении восемнадцати лет в мире демократия — это именно наша демократия, которую составляет некоторое количество несущих в разной ме-

ре ответственность за историческое развитие событий поколений (включая и мое, спешу засвидетельствовать это; увы, мы рождаемся на свет и покидаем его с кем получится, а не с кем захочется). Бывает, посредственный король — случайно или по благоприятному стечению обстоятельств — получает в свое распоряжение отличного министра; но вот в посредственных демократиях встречаются исключительно посредственные министры. Ведь мало сказать, что демократия выбирает себе министров — они суть плоть от плоти той самой демократии, которая порождает их. Если мы сравним ту Францию, которую они приняли в свои руки, с той Францией, которую они рискуют оставить кому-то в наследство, — позволим себе прийти к выводу, что поколения Мюнхена и Ретонда, возможно, являются самыми невыразительными за всю историю Франции. О, безусловно, враги Франции предпочтут распространять слухи о том, что французские ценности находятся на излете, а многие из французов согласятся обелить себя таким манером — в ущерб отечеству. Они отвергают те традиции, для поддержания которых они чересчур трусливы; они почти незаметно для себя начинают мыслить на немецкий, а то и на русский лад — ведь они не

ощущают более в себе ни способности, ни смелости мыслить по-французски. Когда я призываю вас обратиться к собственной совести, вместо того чтобы проталкивать вместе с собой всяческих ура-патриотов (которые к тому же в этом агонизирующем мире могут сменить победное кукареканье на траурные песни), я не строю никаких иллюзий в отношении ожидающей меня участи.

…Вы наверняка будете разочарованы, а может, вы уже разочарованы. Не думайте, что мне по душе вас разочаровывать. Клянусь вам, те, кто, подобно мне, живет и размышляет на отшибе от остального мира, подчас отчаянно нуждаются в симпатии. И не так-то легко смириться с ее утратой. Ну и ладно, мне все равно. Все-таки вам следует знать: обличая те поколения, которые нанесли моей стране огромный ущерб, я никогда не забываю о том, что и мне придется разделить их участь. Ни малейшей гордыни по поводу того, что в споре с ними правда была на моей стороне, я не испытываю. Действительно, недостаточно ощущать свою правоту — важно окончательно разделаться с заблуждением: недостаточно сопротивляться злу — важно одержать победу над ним; пассивное сопротивление оправдывает

лишь падших в борьбе. Более того, когда я начинаю копаться в себе самом так, как мне хотелось бы, чтобы вы покопались в себе, я обнаруживаю, что во всем сходен с вами — меня одолевают те же искушения, я рискую впасть в те же заблуждения. В каждом из нас словно бы гнездится какой-то принцип посредственности — в каждом из представителей наших про́клятых поколений; от него не свободны даже величайшие из нас — к примеру, Клодель или Валери. Может, мы и не относимся к поколениям неудачников, но чего-то нам определенно недостает; чего же? Что такое мы потеряли и так и не сумели обрести вновь? Может, это те самые два миллиона наших товарищей, погибших на берегах Марны и Соммы, под Верденом? А вообще-то, лучше не заводить разговор о мертвых; они ведь не любили рекламной шумихи и сейчас наверняка полагают, что о них и без того слишком много толкуют.

Мир сомневается в нашей мощи. Но в нашем праве он не сомневается. Беда в том, что он сомневается в праве как таковом. Речь сейчас не о том, чтобы скрывать от него самоочевидные вещи, но о том, чтобы раскрыть ему глаза на то, что он не видит. Мы утратили лишь часть нашей мощи — ту, что выступала на поверхности. Нам

осталась невидимая часть айсберга. Что касается видимой, то лучше смотреть правде в лицо. Дадим себе четкий ответ: потерпели ли мы поражение в войне или нет? В эпоху, когда мы искали каких-то оправданий и извинений, мы много раз и на все лады повторяли это людям, так что если вдруг мы ввели бы их в заблуждение, они не смогли бы заставить себя не верить нам. Что вы хотите? Поражение самой почтенной военной державы Европы — такие вещи от соседей не скроешь, это вам не грехопадение какой-нибудь барышни. И кстати… раз уж мы оказались в двух шагах от Средиземного моря, этого колоссального амфитеатра для водных увеселений, где на протяжении веков многократно решалось, кто именно будет властвовать над миром, — неужели вы и вправду думаете, будто эти умудренные опытом народы, на протяжении тысячелетий взбиравшиеся по старинным ступенькам, вдруг взяли и позабыли, что наш флот покоится на дне морском у противоположного берега?.. Да-да, знаю, разговор сейчас не об этом, но что тут поделаешь? Gaffe[8] — не только полезный в навигационном деле предмет, но и прием майевтики. Позволю

---

[8] Примечания: 8

Игра слов: *gaffe* — «шлюпочный крюк» и «промах, оплошность».

себе напомнить тем, кто, возможно, позабыл об этом: майевтика — придуманный Сократом метод убеждения, призванный побудить людей задуматься над той или иной проблемой как бы помимо их желания; метод «родовспоможения для умов» в соответствии с этимологией этого слова. Если мы считаем возможным пробудить умы при помощи оплошности — это ведь означает, что мы не должны с ними церемониться, не так ли? В общем, повивальные бабки умов скорее нуждаются в железной хватке, чем в сноровке.

Да, всему миру известно, что мы потерпели поражение, и мир помнит об этом особенно хорошо по той причине, что мы поначалу много говорили об этом поражении, а затем принялись весьма неуклюже пытаться заставить всех о нем забыть. Слишком уж резко мы перешли от оплакивания собственной участи к совершенно смехотворному бахвальству. И то сказать: послушать нас, так именно мы-то и выиграли войну. Якобы прошло всего пять лет после поражения французских войск на Маасе, и танковые дивизии вермахта были разбиты у баррикад парижского Освобождения, которые голыми (черными от пороха) руками защищали повстанцы (прямо как на лувpской картине Делакруа). Мой приятель Гиено,

который прекрасно знает цену всем этим лубочным картинкам, как-то сказал мне, что именно такого рода легенда и спасла Францию. Если бы я верил в это, то не стал бы высказываться. Но я хочу вам заметить, что подобные похвальбы нужны только для внутреннего употребления, что они напоминают монеты, курс которых намеренно раздут и которые за пределами страны ничего не стоят. В мире есть миллионы людей, которые без нашего позволения заподозрили, что Франция образца 1940 года — состоявшая из подавляющего большинства петэновцев и только горстки голлистов — и Франция образца 1944 года — состоявшая из подавляющего большинства голлистов и только горстки петэновцев — это одна и та же масса людей, невероятно подверженных различным влияниям. Уже Мюнхенский сговор позволил определить вес и объем этой массы, почти в полном составе поддержавшей Компьенское перемирие, под давлением одного только своего веса докатившейся до петэнизма и сохранявшей приверженность ему до тех пор, пока вторжение в Северную Африку не нарушило равновесие и не побудило эту массу устремиться в другую сторону. Миллионы людей во всем мире прекрасно понимают, что Сопротивление

возникло в результате усилий горстки решительных граждан, которые в электоральном плане не могли ни на что претендовать; реорганизация парламентской демократии неизбежно должна была превратить Сопротивление в пыль. Да, эти миллионы людей слишком долго являлись свидетелями активности той самой массы, о которой я говорил; слишком долго ее разоблачала пропагандистская машина; слишком близко к сердцу приняли они разительный контраст между такого рода Францией и одним-единственным человеком, сидевшим в своей комичной лондонской квартирке и клеймимым нами (и тогда, и теперь) как бунтарь[9].

Если мы станем невпопад повторять, что Франция прекрасно себя чувствует и никогда еще не находилась в таком бодром состоянии, мы окажем ей медвежью услугу. Чего стоит справка о состоянии здоровья, если она подписана не врачом, а самим пациентом? Понимаете, о чем я? Мы прекрасно себя чувствуем, мы чувствуем себя все лучше и лучше — вот что не устают повторять (именем Франции) все эти рьяные пропагандисты, которых мы рассылаем по всем

---

[9] Примечания: 9
Скорее всего, речь идет о де Голле.

широтам. Да, мне редко приходилось читать лекции, зато выслушать довелось немало… Какую расположенную на краю света страну ни возьми — да хотя бы Парагвай, — где-то там, на берегу огромной, широкой, будто море, реки, которая катит свои волны цвета глины под небом такого же глинистого цвета и которая то и дело вяло выбрасывает на неизменно дымящуюся отмель новую порцию крокодилов (а очередная волна их тут же смывает), — уверяю вас, здесь даже слова такой безвольной марионетки, как господин Моруа, неизбежно принимают какой-то таинственный смысл — да, хоть это и покажется вам чрезвычайно неожиданным, почти религиозный смысл… Мне хотелось бы представить вашему взору сцену, которая стала для меня чем-то совершенно привычным… Там, как и в любой аудитории, встречаются полусонные господа и дамы, которые сочли своим долгом прийти послушать прибывшего из дальних стран (обыкновенно по воздуху) индивидуума; рано или поздно они произнесут на своем родном языке роковую фразу: «Ну что ж, голубушка, я ожидал большего…» Но встречаются и внимательные, тревожные, напряженные лица — их легко распознать независимо от цвета кожи, ведь лица эти

созданы для того, чтобы их озаряли энтузиазм и вера; обманутые надежды отображаются на этих лицах той же болезненной гримасой, которую можно увидеть у человека, впервые в жизни столкнувшегося со злом. Прибывший по воздуху господин располагается за столом — точно так же, как я только что расположился перед вами (увы, докладчики всегда одним и тем же манером устраиваются за столом, одинаково небрежно поглаживают графин с водой или протирают очки) — и принимается объяснять слушающим его молодцам, что он француз, что он родом из страны, некогда поставлявшей всему миру по мере нужды художников, философов и ученых, но в то же время нет-нет да и позволявшей себе небольшие (вряд ли достойные презрения) житейские радости, как то: хорошая кухня, хорошие вина, женские шляпки и камамбер. Мы прекрасно себя чувствуем, — уверяет этот господин, — и стремимся лишь к одному: к спокойной жизни; для нас теперь нет особой необходимости производить на свет великих людей, ведь у современного мира совершенно другие устремления, а мы идем в ногу со временем, и нужно всегда идти в ногу со временем, даже если время вообще никуда не идет. Когда мы восстановим нашу экономику — о,

только бы эти господа из ООН договорились между собой и обеспечили нашу безопасность, — мы станем чувствовать себя еще лучше, чем прежде, а вам приятно будет на нас поглядеть, и вы почувствуете, что от одного только брошенного на нас взгляда вы прибавляете в весе… Миллионам людей совершенно наплевать, что мы не разочаровались в самих себе; им хотелось бы другого — точно знать, что они могут на нас положиться. Им дела нет до нашего оптимизма. Наш оптимизм ничуть не придает им уверенности, скорее напротив. От нашего оптимизма у них мороз по коже. Увы! Если вы сомневаетесь в сказанном, стало быть, вы сомневаетесь в самой Франции, а точнее сказать, боитесь узнать — чем она все еще является для миллионов людей, о которых я вам толкую; вы предпочитаете отделаться легким пожиманием плечами; вы с видом некоторого превосходства и с упрямым выражением лица (не внушающим особого уважения) скажете — в том числе и изящным своим спутницам, ведь они в большинстве случаев понимают, о чем речь вдет: «Все, хватит! Уж не настолько нас любят!» Ну что же, в каком-то смысле вы правы. Нас не любят, во всяком случае, любят не так, как мы себе это представляем. Про нас не говорят: «Молодцы

все-таки эти французы, вот ведь веселые парни, никакой тебе заносчивости, и при этом здравого смысла хоть отбавляй — да, этих на мякине не проведешь, эти никогда не положат свои жизни за Гданьск. Правда, с виду они вроде именно такие, пока что немного смущаются, но дайте срок, и они придут в себя… Достаточно взглянуть на потешную физиономию господина Бидо, и сразу становится ясно, что им и в этот раз — тем или иным манером — удастся-таки выйти сухими из воды…» Да, таким француз никому больше в мире не видится. Может статься, некоторым из вас, вроде меня немало поколесившим по свету, кажется, будто они и впрямь видали подобных типов; но тут все дело в том, что они не берут в расчет тот самый более или менее сознательный миметизм, под влиянием которого с нами охотно заговаривают на нашем же языке — точнее сказать, на нашем собственном жаргоне; ему подражают вплоть до неконтролируемых движений. А что вы хотите? Первое впечатление от большинства живущих за границей французов — крайняя вульгарность; к тому же и те, кто к этой категории вроде бы не относится, из кожи вон лезут, чтобы выглядеть вульгарно. Иногда приходится задавать себе вопрос: не является ли

подобного рода развязность деградированной, выродившейся формой той самой французской учтивости, которую так восхваляли в былые времена; воображение чужестранцев особенно поражало умение французов везде чувствовать себя в своей тарелке. Вот как об этом написал англичанин Джон Мур, путешествовавший по нашей стране во времена Людовика XVI:

> «Во Франции учтивость и благопристойность свойственны людям всякого чина, и хотя толкуются эти достоинства по-разному, их можно встретить как у неимущего работника, так и у вельможи. Это характерная особенность духа французской нации. Значительное лицо вежливо обращается к своим подчиненным, богач — к бедняку, и даже нищий, умоляя подать ему милостыню, иной раз выражается как человек благовоспитанный…»

Да мы и теперь, по прошествии многих столетий, владеем искусством расположить к себе собеседника; может статься, мы владеем этим искусством даже чересчур хорошо. Мы так хорошо их к себе располагаем, что подчас впадаем в

иллюзию относительно самих себя, попадаем в нами же расставленные силки, то есть грубо ошибаемся по поводу истинного отношения к нам собеседника и того, чего он ожидает от нас. Взгляд наш, улыбка и рукопожатие прочитываются так: «Не бойтесь. Все мы, французы, превыше всего ставим равенство и даже предпочитаем его свободе. Вы непременно хотите принять нас за каких-то потрясающих, необыкновенных парней — но взгляните на меня: мы такие же обычные люди, как и все, славные ребята, середнячки». Но они-то ведь ожидали от нас вовсе не среднего уровня, а, скажем прямо, хотели, чтобы мы в чем-то превосходили их. Только не возражайте. Понятное дело, слово «превосходство» нас коробит, сразу вызывая у нас болезненный рефлекс недоверия и одновременно зависти. Если это слово повторять слишком часто и применять большими дозами, оно способно вызвать у нас желтуху — но это оттого, что печень наша чересчур чувствительна. Тот, кто превосходит вас, не обязательно опасен. Завзятый дурак, если вдруг ему грозит смертельная опасность, сочтет чрезвычайно полезным — по меньшей мере на короткое время, — что врач явно превосходит его, и никогда не станет жаловаться на избыточность

этого превосходства… Если вы не против, давайте еще немного порассуждаем на эту тему.

В мире, где каждому народу отведено свое место и каждый народ ни к чему другому не стремится, кроме как оставаться на своем месте, проблема ставилась бы, наверное, по-другому. Но те люди, о которых я говорю, отлично знают, что находятся под угрозой. Народы не только трогаются с насиженных мест, но и исчезают один за другим; у них на глазах под именем народов распухают своего рода экономические монстры, ставшие неузнаваемыми былые отечества. Их сожрала раковая опухоль промышленного производства, существование которого удерживается исключительно силой — силой в чистом виде, не поддержанной соображениями престижа; именно поэтому их так и волнует все еще сохраняемый французами престиж. Они завидуют тем временам, когда можно было уступить такого рода престижу и при этом сохранить лицо (а ведь уступить силе и не стать при этом рабом невозможно). Нашего престижа они нимало не опасаются. Опасаются они совсем другого: а именно, что мы, утратив осознание этого престижа и предоставляемых им прав, тем самым утратим и осознание тех обязательств, которые

он на нас накладывает. Нашего престижа они не опасаются, но опасаются, что мы окажемся не способны использовать его им во благо; окажемся не способны вложить наш престиж — или то, что от него осталось, все, что от него осталось, все то доверие, которое возлагает на нас мир, — в грандиозное предприятие, о котором сами ученые ежедневно говорят и пишут как о предприятии, призванном решить не судьбу Демократии, но судьбу всего рода человеческого.

Когда в наше время с французами пытаешься заговорить на подобные темы, они хватают шапку в охапку и дают стрекача. Нам с каждым днем становится все менее приятно слушать разговоры о мировом престиже Франции — возможно, из-за того, что мы сделали все, чтобы этот престиж потерять; конечно, не умышленно, а бессознательно. Наше поражение в 1940 году было обусловлено рядом причин, но если бы целый народ подлежал лечению с использованием психоаналитических методов — клянусь, да, клянусь, что мы таким образом получили бы доказательство нашей глухой злопамятности по отношению к себе самим, против престижа нашего былого величия, которое стало для нас чересчур обременительным грузом. Понятное де-

ло, у нас не было особых шансов выиграть войну. Именно поэтому мы пребывали в состоянии картежника, у которого еще осталось немного денег и который смутно надеется их проиграть — с тем, чтобы раз и навсегда покончить с карточной игрой, покинуть игорный зал. Поражение в войне как раз и призвано было стать непоправимой бедой, окончательным разрывом с прошлым, после которого следовало начать жить сначала. Да, разумеется, начать сначала, и притом на более скромном фундаменте. А вот бегство не явилось такой непоправимой бедой. Французы как общность, эта наделенная суицидными склонностями избирательная масса, у которой защитные, жизненно важные рефлексы срабатывают крайне замедленно и с большим трудом; та масса, которую неустанно, день и ночь обрабатывают паразиты от политики, — она сейчас наугад ищет какую-нибудь новую непоправимую беду. Быть может, она отыщет ее в намеренном отказе от империи, распаде империи. И завтра, как это уже было в 1940 году, она где-нибудь — не очень понятно, где именно и в чьей компании, но в этом ли дело? — вновь повстречается с тем самым человеком, которого вы знаете, имя которого мне нет необходимости произносить; все то же не

слишком устойчиво размещенное на чрезмерно длинных ногах туловище; руки, не ведающие иных жестов, кроме как несколько тяжеловесное движение укладывающего кирпичи каменщика; грубовато намеченные черты лица, привычным выражением которого является природное, почти нечеловеческое упрямство. Одним словом, людская масса повстречает человека, как раз и созданного для того, чтобы сопротивляться ей, чтобы обездвижить ее у самого края пропасти, словно камень. Да, это тот же самый человек, занятый прежним своим делом.

* * *

Тот захватывающий эксперимент, который осуществляется ныне от центра Европы до самых дальних границ Азии, от Германии до Тихого океана, от Триеста до Владивостока, болванам вполне может показаться русским феноменом. На самом деле феномен этот был и остается немецким. Немецкая культура по прошествии многих столетий обнаружила в гегелевском Абсолютном духе и Общественном человеке Маркса инструмент, соразмерный ее всепоглощающей амбиции, ее вечной озабоченности, ее головокружительному чувству Становления. В наши дни

немецкая культура пытается заложить основы нового мира, как можно менее напоминающего тот христианский мир, где она всегда ощущала себя угнетенной, как если бы сам климат был бы неблагоприятен для ее роста — до такой степени, что национальное единство страны оказалось достигнуто лишь крайне поздно, до смешного поздно… С учетом столь грандиозной перспективы сам по себе материальный факт военного поражения немцев является лишь малозначительным эпизодом. Как я уже говорил, цивилизацию характеризует тип человека, для которого она создана или который она ставит себе целью выработать. Так вот, гегелевский человек может в равной степени сделаться как нацистом, так и марксистом, ведь марксизм и нацизм — лишь два разных аспекта гегелевского опыта. Хотя гегелевско-нацистский эксперимент провалился, это не имеет значения, так как гегелевско-марксистский эксперимент — подопытным кроликом для которого вот уже тридцать лет является Россия — имеет все шансы быть доведенным до конца. Да, разумеется, взбесившийся подопытный пес однажды взбунтовался — под рукой экспериментатора он жестоко укусил его и свалил с ног; однако распростертый среди своих

аппаратов и разбитых реторт экспериментатор может пробормотать сквозь (оставшиеся) зубы: «Что толку мне выглядеть побежденным, раз уж мне удалось пересадить тебе немецкий мозг?» Боюсь, эти картинки скорее поражают, чем убеждают. Между тем они лишь иллюстрируют расхожие истины. А расхожие истины облачены в серый наряд, их с трудом можно разглядеть; я пытаюсь набросить им на плечи ослепительно яркую шаль, чтобы их было видно издалека… Не о том разговор, чтобы осудить Гегеля и Маркса за то, что они немцы; они великие немцы, может быть, величайшие из немцев. Мне кажется, тот факт, что менее чем за тридцать лет в бескрайней России, с ее неисчерпаемыми ресурсами, установился выточенный по лекалам Маркса и Гегеля режим, следует рассматривать как гораздо более значительное событие, нежели поражение нацистов в войне. В рамках порожденной ею же цивилизации Германия рано или поздно вернет себе утраченное сторицей. А потом, каждому свое! Высказанные мной только что соображения — не вполне мои собственные. Я излагаю мысли, изложенные мне одним молодым немецким профессором по ходу моего путешествия в Германию. В предвоенные годы этот молодой профессор ра-

ботал в одном из наших университетов. Тогда он придерживался крайних антифашистских воззрений — вплоть до того, что вознамерился было записаться в Иностранный легион. Мы сидели у него в комнате; одно из окон, полуразрушенное артиллерийским снарядом, было забито досками. Под нами простирался превращенный в руины, раздавленный город, укрытый легким осенним туманом; казалось, он все еще дымится после бомбежки. Поделившись со мною мыслями, которые я только что изложил, профессор заключил, в последний раз затянувшись сигаретой: «Что вы хотите, ведь я никогда не ощущал в себе большей гордости в связи с тем, что я немец».

Мне кажется — не знаю, прав я или нет, — что время наше уже отмерено. У меня подобное впечатление сложилось еще в 1936 году, когда я писал «Большие кладбища под луной». В дальнейшем я неизменно утверждался в этом своем мнении… Нынче стало чрезвычайно модно говорить от имени чего-то или кого-то, в особенности же от имени мертвых — наверняка из-за того, что мертвые никому возражать не станут. Вчера к нам обращались от имени погибших под Верденом. Теперь все неизменно выступают от имени погибших участников Сопротивления. Я

полагаю — надеюсь! — что с первого дня разделял позицию Сопротивления; к тому же некогда я и сам был солдатом; в глубине души я и сейчас немного солдат. Именно поэтому свой скромный писательский труд я никак не стану сравнивать с фронтовым опытом. Никоим образом не считаю себя вправе говорить от имени погибших участников Сопротивления; может, разве только ради того, чтобы выразить одно почтительное пожелание: хорошо бы усопшие тем или иным образом заставили умолкнуть всех спекулирующих на их подвиге. То есть мне хотелось бы, чтобы погибшие участники Сопротивления стали сопротивляться этим спекуляциям. Ведь погибли то они не ради того, чтобы без конца поддерживать и оправдывать выживших. И если осуществится такое Сопротивление со стороны погибших, а потом окажется, что Сопротивление выживших потерпело крах, — у выживших не будет оснований полагать, будто оно может записать погибших в актив своего поражения. Мне, напротив, кажется, что они сильно обременят собой пассив.

Я не говорю от имени мертвых и тем более не стану от имени одной части Франции клеймить другую. Можно ли и впрямь утверждать, будто

Франция 1940 года и Франция 1944 года — это две разные страны? Что, действительно существуют две Франции и один коллаборационизм? Или одна Франция и два разных коллаборационизма, то есть два типа коллаборационизма, противопоставленные друг другу и не подлежащие взаимообмену, как правая и левая перчатки? Существуют ли на самом деле две Франции, или это просто у нас двоится в глазах? Разве после 1938 года на все демократии не обрушилось одно и то же Мюнхенское соглашение, или же Мюнхен той поры — лишь первая градина в той буре, которая забушевала с удвоенной силой после объявления мира? Ведь дождь из компромиссов, подобных мюнхенским, продолжается, и всякий раз, как переговорщики высовывают нос наружу, они возвращаются промокшими… Я бы с удовольствием признал, что все высказанные мною соображения — из тех, которые, как говорится, могут завести нас слишком далеко; но я вовсе не прошу, чтобы за мной продолжали следовать в это самое далеко; мне хорошо известно, что любой, кому в наше время не хочется быть обманутым, рискует рано или поздно продолжить свой путь в одиночестве; кстати, именно этим я уже давно и занимаюсь. Я уже привык к этому.

Думаю даже, что определенная доза одиночества — не слишком высокая цена за те скромные привилегии, которые никто и не думает у меня отбирать: хотя бы право говорить так, как я это делаю, то есть спокойно и откровенно, и притом исключительно от своего собственного имени. Это стоит недорого, но вместе с тем это поможет всем расслабиться…

Я неоднократно именовал наш мир — перед которым человечество все еще застыло в нерешительности, спрашивая себя, стоит ли в него входить или нет, ведь он так не похож на тот мир, который прежде был обещан людям, — Новый Мир. Но это неточное выражение, своего рода лексический произвол — что-то вроде словосочетаний «солнце всходит» или «солнце заходит». Ведь мир-то наш не нов, он постоянно развивается в сторону централизации и диктатуры. Система трестов никоим образом не в силах противостоять государственному коллективизму, поскольку она представляет собой лишь одну из фаз критикуемого мной режима. Это все равно что утверждать, будто головастик противостоит лягушке. Тресты постепенно сосредоточили в своих руках богатство и мощь, которые ранее были распределены между чрез-

вычайно большим количеством предприятий. Цель подобной концентрации ресурсов — дать возможность современному государству в надлежащий момент разинуть свою глубокую глотку и разом поглотить все, сделавшись тем самым Супертрестом, Царь-Трестом, Богом-Трестом... Нет, мир этот новым не назовешь. Возможность его возникновения относится к тому моменту, когда крах духовного начала — особенно в Европе — достиг определенного критического уровня. Так у какого-нибудь нищего симптомы цинги появляются лишь в тот момент, когда степень авитаминоза достигает критической отметки. Речь не идет о появлении новой, внезапно возникшей цивилизации — это все та же человеческая цивилизация, но свернувшая со столбовой дороги под действием исключительных условий и избравшая тупиковый путь. Не удержусь от следующего замечания: когда нас пытаются убедить в том, будто контрцивилизация атомной бомбы является исторической неизбежностью, нас просто-напросто водят за нос. Да, человек неизбежно должен был прийти к созиданию механизмов — кстати, он созидал их всегда. Но не было ничего неизбежного в том, чтобы человечество бросило весь свой интеллект

и всю свою энергию именно на производство механизмов; чтобы вся планета превратилась в один гигантский механизм, а человек — в своего рода индустриальное насекомое. Только поймите меня правильно: никто не думает оспаривать право современных людей на изготовление механизмов — оспаривается их право загодя принести в жертву всеобщей машинизации свободу завтрашнего дня, руководствуясь при этом нелепой иллюзией: машины-де могут быть спасены лишь при помощи самих же машин. Для чего производить все больше машин, если необходимая для их работы энергия круглосуточно, пристальнейшим образом контролируется небольшой группой техников? Ведь для того, чтобы лишить света и тепла миллионы людей, достаточно перевести из одного положения в другое какой-то рычаг на щитке электростанции! С учетом сказанного нельзя без смеха слушать исполненные прямо-таки религиозного трепета рассуждения всяких самозванцев о механизмах. Никогда еще в распоряжении общества не оказывались столь действенные средства для порабощения, а при необходимости — и уничтожения механизмов. В ответ на знаменитый лозунг якобинцев «Свобода или смерть» тоталитарно-концлагерный мир

скоро сможет сказать: «Рабство или смерть».

Так вот, миллионы людей ожидают, чтобы Франция приняла этот вызов. Миллионы людей не верят более цивилизации, которая считает себя воплощением научного мышления, а на деле представляет собой всего лишь диктатуру разбушевавшейся техники, которую и сами ученые считают чрезвычайно опасным для человечества экспериментом — как бы игрой в «орла и решку». И сказал это не папа римский в своей энциклике, а сам господин Эйнштейн. Какой же выход он предлагает? Создание нового супергосударства, сформированного тремя всемирными контролерами: англичанин, русский и американец. Да, тут ни добавить, ни убавить. Безупречный, почти что божественный триумвират — три сверхчеловека, необходимых для функционирования самой страшной диктатуры, какую только в состоянии вообразить себе человек; рабство или смерть!

Франция не несет ответственности за эту абсурдную цивилизацию. Эта цивилизация создавалась без ее участия и направлена против нее. Перед лицом этого мира Франция сохраняет свою свободу. Думаю, Франция — одна-единственная страна, способная измыслить себе какой-то иной мир, чем этот. Она способна измыслить себе его

с той потрясающей чувствительностью в сочетании с умом, которая придает идеям жизненность и приводит к подлинному овеществлению мысли. Да, разумеется, многие из моих читателей пожмут плечами: «А зачем это надо?» Но я не к ним обращаюсь. Мне нет до них никакого дела, и моей стране тоже нет до них никакого дела. Они заранее готовы к любым духовным компромиссам. Они мечтают лишь об одном: чтобы Франция как можно скорее вновь оказалась вовлечена в адскую круговерть безграничного производства; они хотят, чтобы она любой ценой вновь принялась строить разнообразные механизмы; вот уже два года, как они приносят этим механизмам в жертву хлеб, предназначенный для стариков, молоко, предназначенное для детей, и саму нравственную основу нашего народа, которую изо дня в день подрывает черный рынок. Все происходит таким образом, как если бы экономические супергиганты, монстры механического производства, растущие как на дрожжах что в Западной, что в Восточной Европе, должны были предоставить нам право неограниченного строительства на сто тысяч франков тех самых объектов, которые они в состоянии продать нам за двадцать тысяч, как если бы экономическая война могла быть чем-то

иным, нежели тотальная война.

Перевод К. А. Чекалова

Свобода… для чего?

Свобода — для чего она? Точно так же можно спросить: Франция — а для чего она? Для чего нужна Швейцария? А Европа? А цивилизация? И если подытожить одним словом: человек — для чего он?

Швейцария, январь 1947 года

У господ журналистов, которые оказали мне честь, явившись сегодня меня послушать, уверен, готово сорваться с кончика пера слово «пессимист». Небольшое отступление о пессимизме всегда, когда говорят обо мне, наверняка хорошо принимается средним читателем. Но с 1930 года, то есть с тех пор, как я написал «Великий страх благонамеренных», надо обвинять в пессимизме уже не меня, а события, ибо они всегда оказывались мрачнее, чем я предупреждал… Ну да ладно!

Мировая пресса оптимистична. Она всегда оптимистична до последнего. Весь вопрос в том, не слишком ли долго будет она сохранять оптимизм и на этот раз? Экипаж самолета успокаивает пассажиров, пока это возможно, но если опасность

продолжает нарастать, вряд ли его обвинят в пессимизме, когда он предложит пристегнуть парашюты — по крайней мере, при их наличии…

Известный прозаик Уэллс в своем удивительном завещании, столь отличающемся по духу от всех его произведений, скорее все же популярных, написал, что ужасный кризис, потрясающий человечество, — это кризис подавленного отчаяния. Подавленного, но не преодоленного. Подавленного во фрейдовском смысле слова. Подавленного пропагандой. Я тоже считаю этот мир отчаявшимся, но оптимизм из него так и прет — по-другому не скажешь, ибо официальная и неофициальная пропаганда усиленно откармливает, пичкает его оптимизмом, совсем как рождественского гуся. Если откорм гусей и впрямь выглядит отталкивающе, то птицеводы по крайней мере не настолько жестоки, чтобы откармливать больных птиц… Пичкать отчаявшийся мир оптимизмом — поистине, такой труд не назовешь почетным, кто бы им ни занимался. Впрочем, он и не бескорыстен, не вижу никаких причин это замалчивать. Те, из-за кого человеческая цивилизация дошла до черты, когда уже и сами изобретатели атомной бомбы бьют тревогу, согласны щедро платить, лишь бы скрыть

свой крах.

Вспомним этот мир в 1930 году: он так гордился собой, своей техникой, своими инженерами. При малейшем намеке на угрозу каких бы то ни было перемен собирали серьезных господ с орденами в петлицах и нездоровой печенью, и эти господа, после приятной трапезы, сопровождающейся, вследствие пищеварения, легким приливом крови, полистав досье и загоняв до седьмого пота дюжины две секретарш, обычно высказывались за статус-кво. И вдруг этот мир, чтущий знания и профессионализм, оказывается в руках живописца-неудачника, каменщика-социалиста и бывшего ученика православной семинарии[10]: для начала они выкидывают вон господ с орденами в петлицах, а затем принимаются наперегонки, по очереди или одновременно, за самые невероятные эксперименты, в которых гибнут бесчисленные жертвы, и заставляют людей поклоняться им, как божествам, чего не добился ни один римский император, поскольку римским императорам поклонялись лишь подобострастные сенаторы и льстивые чиновники, но прекрасная молодежь, украшение

---

[10] Примечания: 10
Автор имеет в виду Гитлера, Муссолини и Сталина.

мира, никогда не пошла бы ради них с песней на заклание. Да, разумеется, с каменщиком и горе-художником покончено. Однако бывший семинарист пока еще крепко держится, разве что не сделался римским папой. А господа с орденами, выкинутые вон и чудом не сломавшие себе шею, собираются снова занять свои кресла. Они отказываются от всяких объяснений по поводу столь удивительных событий и, потирая поясницу, как-никак пострадавшую при падении, с нарастающей уверенностью в голосе заявляют, что в этом незначительном происшествии нет ничего особенного, это попросту недоразумение, и что порядок и труд помогут все уладить.

Как вы думаете, мог бы человек, достойный зваться этим словом — будь он хоть бедным писателем вроде меня, — ради сомнительного преимущества удостоиться за свой оптимизм одобрения дураков и тех, кто их эксплуатирует, обращаться с подобными речами к миллионам бедолаг, которым все государства мира предлагают пожертвовать свободой во имя безопасности, в то время как рано или поздно этих несчастных ждет участь лишиться и того и другого? Тем, кто обвиняет меня в пессимизме, я отвечаю, что их оптимизм отзывается похоронным зво-

ном. О, я знаю, над предупреждениями такого человека, как я, смеются, зато вся пресса мира с благоговением печатает интервью Рузвельта младшего, чья мораль уже давно в центре внимания американского общественного мнения. Да что уж там! Читая вчера рассуждения маршала Сталина, столь умеренные, столь пристойные, можно сказать, чуть ли не елейные, я решил, что официальный оптимизм звучит мрачнее, чем когда-либо. И поскольку речь шла об одном американце, я вспомнил прекрасный роман Хемингуэя и подумал: «По ком звонит колокол?»

«Свобода — для чего она?» Удачный заголовок, ничего не скажешь, признаю это с легкостью, ведь придумал его не я. *«Свобода… для чего?»* — как вы знаете, это известная фраза Ленина: ярко и с некой устрашающей трезвостью она выражает своего рода циничное разочарование в свободе, уже отравившее сознание многих. Если у нас отнимают свободу, это еще не худшая угроза для нее (ибо лишенный свободы способен ее отвоевать): страшнее, если люди разучатся любить свободу и перестанут ее понимать. Несколько месяцев назад я проезжал на автомобиле по Германии, лежащей в руинах, точнее, по руинам Германии, по грудам почерневших камней, которые некогда

были знаменитыми городами, славными городами древней христианской Германии, — и ни один француз, ни один христианин не должен забывать, даже теперь, а возможно, теперь особенно, услуг, оказанных ею в прошлом Европе и мировой цивилизации (не стоит удивляться тому, что я так говорю, ведь мной движет не гнев, а вера), — и я думал: все эти грандиозные разрушения окажутся напрасными или почти напрасными, если не будет одновременно и с равной грандиозностью прославлена в сознании людей идея свободы, во имя которой, ради которой посмели мы столько разрушить. Но мы знаем, что ничего подобного не происходит. Напротив. Ленинское словцо стало лозунгом современного государства, зовется ли оно демократическим или нет, ибо слово «демократия» уже настолько затерто, что утратило всякий смысл. Вероятно, во всех языках не найдется другого столь же проституированного слова. Не является ли демократия почти во всех странах прежде всего экономической диктатурой? Вот важнейший факт, и он убедительно доказывает глубокую деградацию современного общества. Ибо в нормальном обществе установить экономическую диктатуру всегда было куда труднее и опаснее, чем диктатуру политическую

или военную. Наполеон ввел декретом рекрутский набор, но никогда не посмел бы оспорить ни единого сантима из суммы долга, вписанного в Главную книгу и гарантированного государством. Если переход от политической диктатуры к экономической может происходить с той или иной степенью сложности, то, напротив, перейти от второй к первой — просто пара пустяков.

О, я не питаю иллюзий относительно отклика, который получат мои слова, и, поскольку мы только что вспоминали об американских романах, позаимствую название одного из самых известных, выражающее мою мысль на этот счет: «Унесенные ветром»… Вот именно: собака лает — ветер носит!

У меня нет права говорить от имени моей страны, но, быть может, есть право говорить от имени некоторого — бóльшего, чем принято думать, — числа французов, похожих на меня, а я вовсе не стыжусь считать себя средним французом — возможно, более одаренным, чем другой, способностью выразить свои мысли, но мыслящим в русле традиций и духа старого народа, из которого вышел. Средний француз очень редко соглашается с теми, кто объявляет себя вождем общественного мнения в политике, в деловой

сфере или даже в литературе (на деле они только его эксплуатируют), но в родных пределах для него не составляет труда объясниться с первым встречным. Не верьте тем, кто говорит, будто француз, достойный зваться французом, думает только о том, как восстановить, поднять материально свою страну, прежде всего и только ее, любым путем, за счет кого угодно. Любой француз, достойный так зваться, напротив, прекрасно знает, что для восстановления своей страны важно вместе с ней восстановить духовные ценности, которые придают исторический смысл имени Франции, званию француза. Так называемый национальный эгоизм (это касается всех народов, а нашего особенно) — обман. Франция желает справедливого и свободного мира, ибо она может быть справедливой лишь в справедливом мире. Она может быть свободной лишь в свободном мире.

Вера в свободу постепенно слабела в сознании людей задолго до того, как ей стали угрожать диктатуры. Бог мало-помалу терял верующих задолго до того, как диктаторы разрушили святилища и осквернили алтари. Без сомнения, идею демократии уже никто не оспаривал, казалось, ее будущее в мире обеспечено, и человек 1900-х, к примеру,

не отделял идею демократии от идеи прогресса, неминуемого и неопределенного. Однако, позвольте заметить, насчет смысла слова «демократия» он глубоко заблуждался. Демократия означает не столько свободу, сколько равенство, в ней куда больше эгалитаризма, чем анархизма. Человек эпохи 1900-х очередную победу равенства каждый раз принимал за победу свободы. Он не сознавал, что в первую голову то была очередная победа государства. Каждая победа равенства сулила любому гражданину некоторые выгоды и тешила его самолюбие, но настоящую выгоду извлекало из нее только государство. Сведение всех к общему знаменателю бесконечно облегчает задачу диктатур. Тоталитарные режимы — самые эгалитарные. Тотальное равенство — во всеобщем рабстве.

…Прошло сто пятьдесят лет после «Декларации прав», сто пятьдесят лет после этого взрыва надежды! Сто пятьдесят лет тому назад мы предъявили миру эту торжественную декларацию, и сегодня французы вправе с горечью спросить: что сделал с нею мир? О, впрочем, мы никого не упрекаем! Мы указали путь и должны были по нему идти. Мы пошли другим путем, он и привел нас туда, где мы теперь оказались. Ибо когда мы

провозгласили Права Человека и наступление цивилизации свободы, равенства и братства, в то же самое время, вместе с запуском в Англии первых ткацких станков, на историческом горизонте появилась цивилизация иного рода. Не стану утверждать, что две цивилизации не могли слиться в одну, способную прославить человечество! Но никто не убедит меня, будто та цивилизация, что привела сейчас к самым большим разрушениям во всей истории, соответствует традиции и гению моей страны. Моя страна служила ей, пусть так, она впала в этот грех, но не извлекла для себя никакой пользы, эта цивилизация не принесла ей ничего, кроме вреда, постепенно ослабила ее, заставила деградировать, отняла веру в себя — дошло до того, что сегодня моя страна ждет спасения от идеологий, совершенно чуждых тому, на чем всегда зиждилось ее понимание человека и жизни.

После восьми лет изгнания — позвольте напомнить мимоходом, люди слишком часто забывают, что я покинул Францию за несколько месяцев до Мюнхенского сговора и бежал не от немцев, а от распространившейся, подобно раку, вездесущей лжи, от которой следовало отойти подальше любому, кто хотел сохранить свободу духа, — после

восьми лет изгнания я обнаружил, что моя страна больна новой ложью, если только это не прежняя ложь под другим именем. Враги моей страны могут говорить, будто она в состоянии упадка, ну и пусть! Если моя страна больна, значит, нездорова и свобода во всем мире. Друзья могут воздать ей справедливость: вот уже много лет она несет те же потери, что и свобода, слабеет вместе со свободой и, вероятно, погибнет вместе с ней. Те, кто повторяет: «Свобода — для чего она?» — точно так же могли бы спросить: Франция — для чего она? Зачем нужна Франция?

О, знаю: моя страна способна кое в чем разочаровать реалистичные, трудолюбивые народы. Кажется, в определенных отношениях она и впрямь изменяет себе. Но ей необходимо понимать, чтобы любить. Ей нужно понимать, чтобы действовать. Она не сможет работать ради мира, которого не понимает и уже не считает достойным любви. Кто может считать этот мир достойным любви? Зачем любить того, кто сам предался ненависти? Даже Богу это не удается, он смиренно попускает существование ада. Сын Божий умер, и можно было бы сказать, что ад пережил Сына Божия. О, мое сравнение современного мира с адом вполне может смутить вас.

Но, без сомнения, именно такое чувство должны были испытать жители Нагасаки, если только — увы! — им хватило на это времени.

У Франции есть основания относиться без восторга к плану Монне[11]. От нее требуют строить машины, больше и больше машин, спасаться с помощью машиностроения. Она уже не верит в бесконечное умножение машин. Ни один здравомыслящий человек не может слепо верить в бесконечное умножение машин, так как мы начинаем понимать, что венцом всего этого строительства, возможно, станет единственная и неповторимая машина, предназначенная для уничтожения всех остальных. В самом деле, ведь атомная бомба — машина. Если машина — это средство для производства энергии, в стальном теле завтрашней атомной бомбы сконцентрируется больше энергии, чем потребовалось бы для работы всех машин, вместе взятых, с самого начала машинной цивилизации.

Не думайте, что столь простые истины недоступны среднему французу! Старейший христианский народ Европы может кончить тем, что

[11] Примечания: 11

План Монне — программа послевоенного восстановления страны, разработанная под руководством известного экономиста Жана Монне, представленная в начале 1946-го и утвержденная в 1947 г.

однажды предаст себя сатане, но он не сдастся ему с закрытыми глазами. Не говорите мне, что современные французы, занятые операциями на черном рынке, далеки от размышлений метафизического толка. Народы воздействуют на историю своего рода элементарными движениями национального инстинкта. Вероятно, Франция противится контрцивилизации, с которой все менее чувствует себя солидарной, еще того не осознав. Тем не менее она действительно ей противится. По образному жаргонному выражению, она тормозит. Но прежде чем упрекать ее в том, что она отказывается идти со всеми вместе или отстает, рискуя внести беспорядок в общее движение, хорошо бы задаться вопросом, куда мы движемся.

Среди вас много молодых людей, я с первого взгляда отметил их присутствие в зале. Я обращаюсь именно к ним. И к тем, кто стоит за ними, к еще более юным, поскольку, как никогда, уверен, что сегодня дети — последний резерв мира, его последний шанс. Люди моего возраста еще способны что-то сохранять, но глупо рассчитывать на них, когда речь идет о сопротивлении чему бы то ни было, они уже слишком многое приняли, слишком много перенесли. Завтра они поставят

себе в заслугу согласиться на большее, вытерпеть еще больше. Поистине, их стойкость огромна! Но вся энергия, которой они располагают, нужна им, чтобы жить, выжить, уцелеть, выйдя из самых невероятных катастроф точно такими же или почти такими же, как прежде. Думаю, что их недюжинная физическая стойкость связана с недостатком воображения, а то, пожалуй, и с атрофией этой способности. Каким бы абсурдным ни казался им мир, где достигшая высот техническая цивилизация подвергает их риску в тысячу раз большему, чем варварство (и, позвольте заметить, цивилизация обходится дорого, крайне дорого, тогда как варварство не стоит ни гроша, дается даром), они абсолютно не способны представить себе какой-нибудь другой мир. Предположим, завтра из-за неудачных испытаний новой техники расщепления плутония две трети планеты взлетят на воздух — в оставшейся трети они восстановят разрушенные лаборатории за счет горстки уцелевших налогоплательщиков…

По их мысли — можно сказать, других мыслей у них не осталось, — мир идет своим путем, как паровоз по рельсам, и едва от них требуется хоть что-то изменить в существующем, они твердят о возвращении назад. Предположим,

завтра (раз уж мы занялись предположениями, продолжим предполагать) радиация, излучаемая атомными заводами во всех точках земного шара, основательно нарушив их жизненный баланс и секрецию желез, превратит их в монстров — они приспособятся к положению монстров, покорно согласятся рождаться на свет горбатыми, кривобокими или мохнатыми, как свиньи на Бикини[12], и опять будут думать, что нельзя противиться прогрессу. «Прогресс» будет последним словом, что слетит с их уст в тот миг, когда наша планета взорвется в космосе. Их безропотность перед прогрессом сравнима только с их покорностью государству и имеет ту же природу. Прогресс навсегда избавляет их от того, чтобы хоть на шаг отступить от дороги, по которой идут все. Государство с каждым днем понемногу освобождает их от заботы распоряжаться собственной жизнью, пока не наступит недалекий день (для миллионов людей он уже наступил — да, для миллионов уже теперь), когда оно освободит их от необходимости думать. Ибо не кто иной, как современное государство, обращается с вопросом: *«Свобода — для чего?»* к своим гражданам

[12] Примечания: 12

На атолле Бикини в архипелаге Маршальских островов в Тихом океане США проводили атомные испытания в 1946–1956 гг.

— я хочу сказать, к своим налогоплательщикам, поскольку почти повсюду налогоплательщик заменил гражданина. «Свобода — зачем она? Для чего она вам, дураки? Дайте мне еще немного времени, работайте усердно, и скоро я полностью возьму на себя заботу о вас, застрахую вас от всякого риска (разумеется, кроме одного: потери свободы), буду вас женить, воспитывать ваших детей, чего же вам еще? Свобода — зачем она? Взяв на себя труд еще и думать за вас, я отлично сумею быть свободным вместо вас».

Зачем нужна свобода? Именно этот вопрос задает роду человеческому современный мир, ибо я утверждаюсь в мысли, что это тоталитарно-концентрационный мир в стадии формирования: с каждым днем он оказывает все более сильное давление на свободного человека, подобно льду, который берет в тиски корабль и сдавливает его, пока не лопнет корпус.

На днях я читая в одной из газет статью моего коллеги, весьма талантливого, где он противопоставляет капитализм коммунизму, вкладывая в это противопоставление смысл борьбы между силами диктатуры и духом свободы. Эта идея соблазняет многих людей, потому что кажется простой, тогда как вернее, пожалуй, назвать ее

упрощенческой. Диктатура представляется мне скорее извращением капитализма, но не был ли капитализм обречен на извращение? Разве не соответствует логике вещей то, что многие тысячи предприятий зарождающегося капитализма постепенно сократились числом, одновременно возрастая мощностью и эффективностью? Так появились тресты, но и количество трестов сокращается, пока, наконец, государство не подменит собой оставшиеся, превратясь в Трест-великан, единственный, целостный и неделимый. Разве не пора задуматься, нет ли у всех наших бед общей причины: не является ли та форма цивилизации, которую мы зовем цивилизацией машин, своего рода несчастным случаем, патологическим феноменом в истории человечества и не будет ли правильнее говорить не о цивилизации машин, но о захвате цивилизации машинами, опаснейшее последствие которого — коренное изменение не только среды обитания человека, но и самого человека. Не будем поддаваться на обман…

Над миром нависла угроза всеохватывающей тоталитарно-концентрационной организации, которая рано или поздно — неважно, как именно это будет названо, — превратит свободного человека в своего рода монстра, объявив его опасным

для коллектива, так что в обществе будущего он станет явлением столь же необычайным, каким сегодня оказался бы для нас мамонт на берегах озера Леман. Не думайте, что я намекаю только на коммунизм. Коммунизм может завтра исчезнуть, как исчез гитлеризм, но современный мир тем не менее продолжит эволюционировать в сторону режима всемирного дирижизма[13], к которому, кажется, стремятся сами демократии. Ни один разумный человек не может заблуждаться на этот счет. Разгром диктатуры гитлеризма и фашизма можно сравнить со срочной хирургической операцией в условиях стремительного развития инфекции. Такие операции, как вы знаете, опасны тем, что могут привести к сепсису. Ясно, что повсюду в мире остаются очаги тоталитарной инфекции. Тоталитаризм был разбит его же собственными средствами, с помощью тоталитарных методов. Иначе и быть не могло, пусть так! Но, признавая это, мы вместе с тем осуждаем цивилизацию свободы, которая допустила столь глубокое заражение, что ради спасения жизни ей пришлось кромсать

[13] Примечания: 13

Дирижизм — система государственного регулирования экономики, при которой правительство полностью контролирует экономическую жизнь.

собственную плоть. Осмелюсь пояснить суть моей мысли: нынешнее состояние Европы, того, что когда-то было европейским христианским сообществом, без сомнения, ложится тяжкой виной на диктатуры, но вместе с тем это приговор миру, в котором диктатуры выполняли функцию нарыва, откачивающего яды из организма. Диктатуры стали симптомом мирового недуга, поразившего все человечество. Цивилизация машин существенно ослабила в человеке чувство свободы. Навязанная техникой дисциплина понемногу если не уничтожила, то, по крайней мере, заметно ослабила свойственный личности защитный рефлекс по отношению к коллективу. Чтобы в этом убедиться, достаточно обратить внимание на важный факт, привычный и потому для нас почти уже незаметный: большинство демократий, начиная с нашей, осуществляют самую настоящую экономическую диктатуру. Они представляют собой экономические диктатуры в полном смысле слова. Почти везде экономическая диктатура сохраняется после того, как миновала военная необходимость, служившая ей оправданием. Трудно отрицать, что при расширении рамок экономической деятельности сегодня требуется какая-то координирующая организа-

ция. Конечно, следует подумать, до какого уровня частностей должно доходить вмешательство государства: несомненно, излишняя регламентация нередко влечет за собой административные неприятности, доставляющие головную боль тем, кого они затрагивают.

Перед вами не экономист и не политик — писатель. Я не собираюсь заниматься экономической или политической критикой всеобъемлющей машинизации, я хотел бы рассмотреть, как она влияет на человека, по примеру врача, который наблюдает действие яда, введенного в организм. В самом деле, засилье машин — причина некой перверсии человечества. Вернее, оно само стало результатом этой перверсии, так как болезнь поселилась в человеке, постепенно утратившем духовность.

* * *

Я читал отчет об одном заседании Протестантского исследовательского центра, на котором профессор Жак Эллюль обрисовал замечательную картину современного мира и всевластия экономики, поставив в итоге вопрос о том, что же останется от человека.

Что останется от человека?.. По мнению выдающегося профессора, человек уже не противостоит экономике, он утрачивает автономию, будучи вовлеченным в экономику телом и душой, так что действительно возникает новая его разновидность — «человек экономический»: у него, по прекрасному определению Эллюля, нет ближнего, зато есть вещи. Жак Эллюль констатирует, что, кроме Церкви Христовой, некому защитить человека, его дар воображения, способность страдать, взыскательность, словом — его свободу.

Что поделаешь, трудно оставаться равнодушным к рождению нового человека, особенно когда этот еще мало известный феномен проявил себя первым приступом delirium tremens, опустошившим землю. Я знаю, термин «экономический человек» сразу же создает недоразумение. Людям невольно представляется славный малый, который экономит, складывая денежки в чулок. Но человек, о котором идет речь, вовсе не экономен, мы видели тому доказательство. Большего расточителя не сыскать. За несколько лет кровавой оргии он промотал несметное богатство, неисчислимое множество человеческих жизней. И жаждет продолжения. Мы по-прежнему наблюдаем борьбу человека против экономики,

которая стремится его поработить. Экономика хочет контролировать мир, и потому мир никак не устанавливается. Ради восстановления экономики повсюду приносят в жертву тысячи человеческих жизней, жизней стариков и детей.

Экономический человек легко принимает облик дельца, практика, полной противоположности идеалисту, поэту. К несчастью, Германия доказала, что практик, человек без сантиментов, для которого «дело прежде всего», легко способен превратиться в лютого зверя. Легко, слишком легко перейти от одной техники к другой, и тоталитарные диктатуры произвели и производят до сих пор разновидность техников, о которой лучше не распространяться, чтобы не лишить вас сегодня ночью сна.

Сегодня стоит всего одна проблема, от решения которой зависит судьба человечества: это не проблема политического или экономического режима — демократии или диктатуры, капитализма или коммунизма, это проблема цивилизации. Ее часто называют бесчеловечной цивилизацией. Что это означает? Очевидно, это цивилизация, основанная на ложном или неполном определении человека. Если эта цивилизация бесчеловечна, вам не сделать ее человечной, но она сделает

человека бесчеловечным. Создана ли эта цивилизация для человека, или же она стремится создать человека для себя, по своему образу и подобию, узурпируя таким образом, благодаря необычайным ресурсам техники, всемогущество самого Бога? Вот что важно выяснить.

О, по всей вероятности, для нас это пока еще не имеет решающего значения. Но мы не можем думать только о себе. Важно понять, будет ли техника владеть телом и душой людей грядущих поколений, будет ли она, например, распоряжаться не только их жизнью и смертью, но и обстоятельствами их жизни так же, как зоотехник-кролиководом распоряжается особями своего крольчатника.

В последние девять лет я много путешествовал. Вы не представляете, куда способна завести уже теперь в некоторых странах Америки эта диктатура техники — в частности, в области профессиональной ориентации детей. Казалось бы, велика важность — профессиональная ориентация детей! Но это в конечном счете ориентация всей их жизни, их социальной судьбы, что во многих случаях неотделимо от судьбы как таковой. Тесты, на которых основывается американский техник, формулируя свои директивы, иногда так

непоследовательны и нелепы, что трудно даже вообразить. Мне пришлось ознакомиться с множеством подобных тестов благодаря моему другу профессору Омбредану, руководителю кафедры экспериментальной психологии Университета Рио-де-Жанейро. Правительство Жетулиу Варгаса, вдохновившись примером Соединенных Штатов, поручило ему переделать некоторые из тестов, используемых в американской армии, с учетом привычек и психологии бразильских солдат. Эта задача потребовала большого труда, зато доставила ему немало поводов от души посмеяться.

К чести янки, должен сказать, что американское чувство юмора не позволяет упустить случай позабавиться над техниками, которые чуть ли не раз и навсегда определяют будущую военную карьеру новобранцев. Повсеместно рассказывалась (и с тех пор уже обошла весь мир) история о призывнике, которому задали 1270 вопросов, один смешнее другого. Экзаменатор, понятно, хронометрирует интервал между вопросом и ответом.

— 1271-й вопрос: если вам отрежут ухо, что с вами произойдет?

— Я буду хуже слышать.

— Отлично. 1272-й вопрос: если вам отрежут оба уха, что с вами произойдет?

— Я перестану видеть.

Экзаменатор, глядя на новобранца поверх очков:

— Ну, ну, вы же до сих пор отлично отвечали, это просто рассеянность. Повторяю. 1272-й вопрос: если вам отрежут оба уха, что с вами произойдет?

— Я перестану видеть.

— Ну, это уж слишком! Что за идиотский ответ? С чего это вы перестанете видеть?

— Каска мне велика, и она сползет на глаза…

Потешаться над этой цивилизацией техники естественно, ведь все, что бесчеловечно, дает повод для смеха. Во Франции смеялись над строевым — гусиным — шагом: для нас он и вправду выглядит уж очень комично. Однако тем, кто смотрел, как немецкие солдаты проходят маршем под Триумфальной аркой на площади Звезды, было не до смеха.

* * *

Думаю, что мое описание цивилизации машин кого-то из вас заденет; уверен, многие оста-

нутся им довольны, но удовольствие, которое испытывает современный человек, критикуя машины, — чувство, быть может, не очень-то благородное. Люди подневольные всегда любили посмеяться над своими господами, и немцы при Гитлере, как и итальянцы при Муссолини, охотно рассказывали анекдоты, нелестные для самолюбия диктаторов… Угрожающая вам опасность не вызывает ни малейшей иронии. Но представление о ней у лучших из вас (по крайней мере, таково мое опасение) — как бы это сказать? — несколько абстрактное. Да и сама опасность… так трудно дать ей имя! Термин «цивилизация машин» порождает столько кривотолков! Похоже, на машины возлагается ответственность за некоторое обесценивание человеческой личности, тогда как захват цивилизации машинами — лишь следствие своего рода обезличивания, симптом, аналогичный и равнозначный любой другой победе коллектива над личностью. Ибо машина — это преимущественно инструмент коллектива, самое эффективное средство, которым может располагать коллектив, чтобы обуздать непокорную личность или, по крайней мере, держать ее на коротком поводке зависимости. Когда, например, машины распределяют

между всеми свет и тепло, тогда тот, кто ими управляет, оказывается хозяином холода и тепла, дня и ночи. Наверное, это вам кажется вполне естественным. Вы пожимаете плечами, решив, будто я предлагаю вернуться к свечам. Я вовсе не хочу возвращаться к свечам, я только стремлюсь доказать вам, что в руках коллектива машины становятся страшным оружием, могущество которого не поддается измерению. Вопрос заключается не в том, чтобы вернуться к свечам, а в том, чтобы защитить личность от силы, в тысячу раз более мощной и сокрушительной, чем любые средства подавления, которыми располагали знаменитые тираны прошлого.

О, прошу вас, не обольщайтесь легковесными рассуждениями о замене электрического света свечами. Повторяю, речь идет не об уничтожении машин, не о том, чтобы ткать себе одежду своими руками по примеру Ганди, хотя мы, может быть, напрасно так легко относимся к новой мистике, достаточно сильной, чтобы поднять многочисленный народ и породить столько мучеников. Легко насмехаться над теми, кто не разделяет нашу концепцию жизни и счастья, хотя в конечном счете — мы ни о ком не хотим сказать дурного — концепция жизни и счастья у американского

минера, возможно, не самая гуманная и не самая утонченная. Ну да ладно! Речь идет, еще раз, не о разрушении машин, но о противостоянии огромной опасности — опасности порабощения человечества, и не собственно машинами, как хотели бы истолковать мои слова дураки, будто мы ожидаем, что однажды нас, как гусей, поведет в поле робот на колесиках — а впрочем, кто знает?.. Порабощения не машинами, а коллективом, владеющим машинами.

Пусть дураки смеются. Всю жизнь я обходился без одобрения дураков. Я не отрицаю, что машины способны облегчить жизнь. Ничто не доказывает, что они должны сделать жизнь счастливее. Конечно, сравнивать жизнь человека при машинной цивилизации и в каменном веке — это не довод. Сравнивать можно только людей той или другой цивилизации. Я задаюсь вопросом: мог бы современный человек вызвать восхищение представителя римской, афинской или флорентийской цивилизации? Разумеется, современный человек использует механизмы. Но привычка оперировать механизмами — не признак цивилизованного человека, и вот вам доказательство: легче легкого сделать африканского туземца шофером, а прежде обучить его

бриться безопасной бритвой и ездить на велосипеде, что, впрочем, куда проще, чем влезать на кокосовую пальму. Но потребуется, конечно же, время длиной не в одну человеческую жизнь, потребуется несколько поколений, чтобы сформировать человеческий тип, похожий на среднего жителя одного из городов итальянского Ренессанса. Впрочем, и это не имеет значения. Мои противники вправе подходить к проблеме не так, как я. Спрашивается, как, по их представлению, удастся им жить свободно в завтрашнем мире, механизированном до такой степени, что государство, располагая несколькими рычагами управления, сможет присвоить себе абсолютную власть над всей человеческой деятельностью. Пусть дураки называют это цивилизацией, не собираюсь спорить. Как хотите, так и называйте.

Но, по крайней мере исторически, цивилизация всегда была своего рода компромиссом между властью государства и свободой личности. Даже дуракам не мешает понять, что приход машин нарушил это равновесие. Пусть они в свою очередь считают меня дураком. Им придется все же признать, что проблема современной цивилизации должна быть поставлена заново. Говоря об обобществлении средств производства,

прежние социалисты не задумывались об обобществлении средств разрушения по той причине, что в те времена слово «разрушение» ассоциировалось с ружьями и штыками. Государство могло монополизировать производство ружей и штыков, но на каждое ружье, чтобы его держать, требовался человек. Индустрию размножения национализировать не так легко, если только не додумаются закупоривать детишек в бутылки. Государство располагало ружьями, но не могло свободно располагать людьми. Другое дело, если оно получит контроль, к примеру, над производством атомных бомб, способных буквально стереть с лица земли непокорный город, будь в нем хоть два миллиона жителей.

Проблема современного государства — один из главных аспектов мирового кризиса. Государство продолжает именоваться государством и, следовательно, по-прежнему пользуется уважением, которое издавна вызывало это слово. Вопросы словаря имеют огромное значение. Должно пройти много времени, возможно, целые века, для того, чтобы слово утратило свой смысл. Слово способно надолго пережить означаемую вещь. Едва слово «государство», например, коснется слуха француза, тот сейчас же представляет себе

святого Людовика под венсенским дубом или великолепного стареющего Людовика XIV, накануне победы при Денене заявившего маршалу Виллару, такому же старику: «Погибнем вместе или спасем государство», или членов Конвента, приказывающих поднять народные массы, — в общем, в голове всегда присутствует некая абстрактная идея. Государство — страж законов, гарант законности. Есть, конечно, слово министра, подпись министра, но, не желая никого обидеть, надо сказать… Да нет, не хочу говорить, что я об этом думаю, а то перекрою себе политическую карьеру, ведь и я могу успеть сделаться министром, пока еще жив…

Существовали слово и подпись министров, но также слово и подпись государства, и именно вторые служили гарантией первых, как слово отца семейства служит гарантией слову несовершеннолетнего чада. Не смею сказать, чего стоят сегодня слово и подпись государства во многих демократиях, прошедших испытание войной. По мере того как растет власть государства, приходится с сожалением констатировать — разумеется, с почтительным сожалением, ибо мы почтительные граждане, — что, выигрывая в силе, этот всемогущий Властелин столько же

проигрывает в нравственности. О, по-видимому, некоторых процветающих государств это замечание пока еще не касается, но, как известно, истинная природа человека проявляется в бедности. Поэтому, если мы хотим представить себе, чем стало государство, стоит обратить внимание именно на бедные государства. У современного государства есть только права, обязанностей оно за собой не признает, а это всегда было отличительной приметой тиранов. Нам хотят внушить, будто нацистское государство — это какой-то монстр, нечто непредсказуемое, нежданно-негаданно свалившееся с Луны. Но гитлеровское государство не сильно отличалось от некоторых других, называющих себя демократическими и эволюционирующих к тоталитарно-концентрационной форме. Современное государство, будь оно демократическим или нет, в экономическом отношении обладает всеми правами. Когда оно претендует на то, чтобы распоряжаться в некоторых случаях 83 % доходов граждан, а взамен обещает (но, впрочем, всегда может взять назад свое обещание) быть гарантом того, что остается, мы имеем полное право задаться вопросом, до чего оно дойдет в своих притязаниях. Кто распоряжается благами, тот в конечном счете будет

распоряжаться и людьми. Кто привык воровать, тот рискует стать убийцей. Кстати, экономические диктатуры, вы это знаете, вполне уживаются с диктатурами как таковыми. Полицейские государства постепенно завоевывают положение и преимущества свободных государств, те и другие важно обмениваются договорами и протокольными подписями. В самом деле, разве они так уж отличаются по природе? Этот вопрос задают нечасто, но я не боюсь его задать, и мне не хотелось бы, чтобы вы сами задали его слишком поздно. Ведь уже давно, много лет назад современное государство стало разлагаться, а вы этого не осознавали. Все демократии разлагались, но одни быстрее, другие медленнее. Они превращались в бюрократии. Они вырабатывали бюрократию, как организм диабетика вырабатывает сахар — за счет собственной субстанции. А там, где процесс зашел особенно далеко, бюрократия, в свою очередь разлагаясь, вырождалась в форму полицейской бюрократии. В итоге такой эволюции все, что остается от государства, — это полиция, задачи которой — контроль, слежка, эксплуатация и уничтожение граждан.

* * *

Иногда меня упрекают в том, что я не делаю выводов. Но это не столько законное пожелание, сколько расставленная мне ловушка. Всем понятно, что современный мир — своего рода мир-перевертыш: ну и что же! Люди всегда надеются, что они привыкнут жить головой вниз. Они терпеливо слушают, когда им доказывают, что такое положение ненормально, но стоит заговорить о том, что надо встать на ноги, как они находят, что вы нарушаете правила игры. Вот на это и рассчитывают некоторые мои недобросовестные оппоненты, думая поднять меня на смех в глазах обывателей, множества славных людей, которых Создатель обделил любовью к приключениям: для них невыносима мысль о том, чтобы сменить патрона, они без крайней нужды не передвинут буфет у себя в столовой и, естественно, остерегаются реформаторов. Как же им не принять за умалишенного господина, который, говорят, в разладе с современным миром и будто бы полон решимости довести этот спор до конца? Как, по-вашему, объяснить им, что они правы, что бедняга вроде меня и помыслить не может о том, чтобы повернуть течение истории,

потому что история — не река: это всего лишь сравнение, и верное, и в то же время неверное, как любое сравнение.

Можно еще сказать, что каждая цивилизация — это обиталище некоторого числа поколений, которые приспосабливали ее к своим нуждам, в соответствии со своими представлениями о человеческом уделе и о счастье. Каждая цивилизация подобна улью. Однако пчелы созданы для того, чтобы жить, работать и умирать, если не в одном и том же улье, то, по крайней мере, в подобных ульях, — доказательство заключается в том, что ни одна пчела никогда не думала что-либо изменить в общей структуре улья. И напротив: цивилизация существует для человека, а не человек для цивилизации, — и доказательство в том, что человек способен любить или не любить это творение своего разума и своих рук, он может даже презирать и ненавидеть его. Он вполне может оценить преимущества, которые извлекает из цивилизации, и урон, который она ему наносит. Он вполне может придумать извращенную, чудовищную цивилизацию, которая перестанет его защищать, которой он постепенно принесен будет в жертву.

Должно быть, даже в этом случае такая циви-

лизация не исчезнет в мгновение ока, как дурной сон. На это уйдет немало времени и труда, потребуются многочисленные жертвы. Но гений человека, построивший такую цивилизацию, сумеет ее исправить, реформировать, сделать вновь человечной. По крайней мере, если достаточно рано осознает совершенную им ошибку. Ведь можно представить себе и другое — затянувшийся эксперимент, в который вовлечены слишком мощные средства: он становится необратимым и стремится к конечной катастрофе, подобно кораблю, который неотвратимо опрокидывается набок вместе с испуганным экипажем.

У людей благовоспитанных эти гипотезы вызывают улыбку. Это скорее привычная улыбка, не выражающая каких-либо убеждений. Улыбка никогда не служила аргументом, к примеру, череп тоже улыбается. В Америке я видел черепа, которым невесть сколько тысячелетий, они такие хрупкие, что хранят их в искусно подвешенной витрине, дабы уберечь от малейшей вибрации, иначе они рассыплются в прах. Так вот, они все равно улыбаются, их оптимизм несокрушим. Сегодня даже самый стойкий оптимист знает, что цивилизация может стать опасной для человечества. Всего при одном условии: если она

складывается и развивается на основе неполного или ложного определения человека. Современная цивилизация основана на материалистическом определении человека, согласно ему человек представляется усовершенствованным животным. Но пока я не хочу останавливаться на этом подробно.

Дураки всегда считали, что неверующий, который принимает себя и себе подобных за обезьян, — это веселый малый цветущего вида, любитель поесть и выпить, охотник до женщин, но, впрочем, как говорит Рабле, при всех его недостатках превосходнейший из людей. Что толку спорить с дураками на эту тему? Они ответят мне, что разлившийся ныне по жилам человечества яд жестокости, тот страшный сепсис, очаги которого внезапно вспыхивают там и сям, в Германии, в России, принимают форму гигантских гнойных абсцессов в Бухенвальде, Дахау и так далее, не имеют отношения к обличаемой мной утрате духовности. Пусть себе в это верят и готовятся подохнуть! Их можно убедить в неприятных последствиях своего рода атрофии внутренней жизни, которую я называю варварским трудно-произносимым словом «деспиритуализация», только если человек, переставший посещать

воскресную мессу, тут же превратится в дикого зверя и палача. Но, увы, многие из тех, кто не пропускает мессу по воскресеньям, столь же бездуховны, хотя это не так заметно. Они принимают пищу, которую уже не в состоянии усваивать, подобно диабетику, который ест с аппетитом, в то время как поглощает он лишь собственную субстанцию.

Например, палачи пресловутого Крестового похода в Испании (я наблюдал их действия на Майорке) страдали от той же болезни, что их противники. За фанатизмом стояла неспособность простодушно и искренне верить во что бы то ни было. Вместо того чтобы просить у Бога веры, которой им недостает, люди этого типа предпочитают вымещать свой страх на неверующих, а ведь они пришли бы к спасению, смиренно приняв этот страх. Они мечтают вновь разжечь костры, но не столько из стремления бросить в эти костры нечестивых, сколько в надежде подогреть около них собственную теплохладность — ту, что Господь извергнет из уст Своих[14]. Нет, вовсе не экзальтация побуждала клерикалов оправдывать и прославлять кровавый фарс франкизма:

---

[14] Примечания: 14
См.: Апокалипсис 3, 15–16.

трусость и раболепие — вот что ими двигало. Все эти епископы, священники, миллионы дураков, вовлеченные в отвратительную авантюру, могли из нее выпутаться: стоило просто во всеуслышание сказать правду. Но правда была для них страшнее, чем преступление.

Я не извиняюсь за это кажущееся отступление от темы, посвященное испанским делам, память о которых почти стерли ужасы последних лет. Напротив, я рад, что представился случай о них вспомнить. Я — католический писатель. «Католический» значит «вселенский». Суждение о современной цивилизации, которое я пытаюсь сформулировать, внушено отнюдь не желанием свалить ответственность за ужасающие бедствия мира на тех, кто не разделяет мою веру, как будто мы смеем называться, по примеру древних евреев, избранным народом, отмеченным каким-то физическим знаком, аналогичным обрезанию. Мы вовсе не считаем себя защищенными от болезней, которые обличаем, но считаем своим долгом их обличать. А поскольку мы получили больше, чем другие, поскольку наше призвание — призвание христиан — уберечь мир от этой беды, то, раз уж мы упустили слишком много времени и остановить ее распространение теперь

невозможно, мы сочтем справедливым оплатить долги тех, кто беднее нас, и погибнуть первыми.

Большинство из вас охотно согласилось бы со мной в том, что кажется им сутью этого спора, а для меня имеет лишь второстепенное значение. Соглашаясь, что эта цивилизация не оправдывает надежд, что она опасна, они не могут примириться с тем, что она не подлежит реформированию, их успокаивает мысль, что в конце концов человек обустроит ее изнутри. Они полагают, что человеческий эксперимент можно без конца начинать заново. Ошибка в том, что они никогда не задумываются: а не может ли нынешний эксперимент продолжаться наперекор человеку, благодаря грандиозным средствам, которыми этот эксперимент располагает? Если бы человечество внезапно не направило все свои усилия, все ресурсы своего гения на производство машин, преследуя единственную цель: сделать жизнь приятнее и легче — и рискуя принести в жертву технике высочайшие ценности (ибо цивилизация техников, которая должна логически привести не только к главенству техники, но и к диктатуре техников, беспримерна), тогда зло было бы не так велико. Всегда забывают — хотят забыть, что захват человеческой цивилизации

машинами стал явлением неожиданным. Машины были навязаны спекуляцией. Спекуляция вдруг оказалась хозяйкой этого потрясающего инструмента, едва ли понимая его силу. Спекулянт имеет свои представления о человеке. Для него человек — это клиент, которого необходимо удовлетворить, это руки, которые надо занять, это чрево, которое надо наполнить, это мозг, в котором надо запечатлеть определенные образы, способствующие продаже товара. Спекуляция располагала машинами и благодаря им обладала силой. Так в баснословно короткие сроки, благодаря чуду техники и всевозможных технологий, позволяющих не только контролировать, но и формировать общественное мнение всего мира, она создает цивилизацию по образу человека, невероятно уменьшенного, усеченного, сотворенного не по подобию Божию, а по представлению спекулянта, — человека, сведенного к двум равно ничтожным состояниям: потребителя и налогоплательщика.

Знаю, эти истины поначалу вызывают отторжение, потому что кажутся слишком простыми. Они и в самом деле просты, и все же, чтобы понять их по-настоящему, требуются усилия не только ума, но и чуткого воображения. Цивилизации

прошлого строились постепенно, веками, более или менее сознательными усилиями всех людей. Нынешняя как бы навязана извне. И с каждым днем все более могущественные средства, которыми она обладает, могут поддерживать ее даже против воли людей, так как она уже способна или будет способна завтра воздействовать на их волю, подчинять ее, управлять ею по своему усмотрению. Разве она не осуществляет все это уже теперь с помощью пропаганды? Огромное большинство людей — те, кого не без оснований называют средними, от рождения не одарены способностью воспринимать сразу много идей. Раньше, в силу естественного защитного рефлекса, они усваивали лишь небольшое количество понятий, необходимое им для поддержания жизни, для профессиональной деятельности. Цивилизация машин денно и нощно взламывает этот скромный защитный барьер.

Так вот, по этому признаку и обнаруживает свою истинную сущность та цивилизация, которую я попытался определить. Это не цивилизация, а контрцивилизация, она существует не для человека, но стремится поработить его, создать человека для себя, по своему образу и подобию, узурпируя тем самым власть Бога. О, я знаю, для

многих из вас эти образы — пока еще только образы. Тем хуже! Вы только что прочли в своих газетах невероятный рассказ об экспериментах, которые пытались ставить немецкие врачи in anima vili[15], а именно, над депортированными людьми, предоставленными в распоряжение техники. Если это вас не насторожит, придет день, когда нынешние методы пропаганды покажутся до смешного отсталыми и неэффективными. Биология позволит воздействовать непосредственно на мозг, и речь пойдет уже не о том, чтобы отнять у человека свободу, но о разрушении в нем последних рефлексов свободы.

О, вопрос стоит не об уничтожении машин, а о восстановлении человека, то есть о возвращении человеку, вместе с осознанным чувством собственного достоинства, веры в свободу его разума. Вы считаете эту цивилизацию чем-то роковым, неодолимым, вы полагаете, что она сильнее вас. Думая о нереальном уничтожении машин, о всемирном саботаже на заводах, вы пожимаете плечами. Но вам не предлагают ничего подобного. Захват мира машинами, повторяю, —

---

[15] Примечания: 15

Над малоценными существами, здесь: над подопытными животными *(лат.)*.

лишь симптом некоторого духовного недуга. Разрушать машины — все равно что уничтожать по одной язвы больного ветряной оспой. Когда инфекция побеждена, болячки исчезнут сами собой. Уничтожение диктатур — это прекрасно. Но, уничтожив две из них, вы разрушили огромную часть наследия человечества. Уничтожая третью, вы рискуете взорвать планету, а если она все же уцелеет, не исключено, что и сами победители в свою очередь подхватят заразу.

Все человечество больно. Прежде всего необходимо вернуть человеку духовность. Ради этой цели пора, давно пора во что бы то ни стало и как можно скорее мобилизовать все силы Духа. Дай бог, чтобы с этим лозунгом выступила моя страна, ныне униженная. Наш народ, быть может, заслужил за свою долгую историю это право — право вернуться сегодня к идеям, которые он когда-то широко распространил по всему миру, а затем их настолько затаскали, истрепали, исказили корыстью, невежеством и глупостью, что он и сам их не узнает. Надо вернуть им жизнь, как встарь золотым и серебряным монетам, которые отправляли в переплавку.

Как мы понимали свободу до наших гражданских разногласий, в пору, когда самосознание

Франции отличалось наибольшей ясностью или, по крайней мере, достигало высшего накала, в пору расцвета традиционного французского гуманизма? К этой идее и надо вернуться. Ибо мы верим, что она еще способна примирить всех.

* * *

Надеюсь, среди вас много, очень много хороших христиан. Быть может, они решат, что в конце концов с точки зрения вечного спасения менее предосудительно быть съеденным, а не поедать других, быть жертвой, а не палачом. Я не уверен, что смогу вывести их из заблуждения. Не уверен, что сумею объяснить им, как страшна солидарность, связывающая услужливую жертву и палача, который, кстати, похож на нее как родной брат, поскольку нередко он убивает тоже из трусости. Если позволите, я сделаю сравнение: почти такая же солидарность связывает не в меру кокетливую красавицу со всеми встречными, в ком она будит желание (если предположить, что оно когда-нибудь спит, увы…). Есть об этом восхитительная страница у старика Блуа[16]. Так вот, я говорю, что трусость некоторых христиан

[16] Примечания: 16
Леон Блуа (1846–1917) — католический писатель и журналист.

перед завтрашним миром, которого они будто бы видеть не видят, знать не знают, это поистине слишком опасный соблазн для кровожадного людского племени, именно сейчас нашим миром формируемого. О, я не шучу, клянусь вам! Неверно, что жертва вправе подставить горло под нож убийце: вид пролитой крови, того гляди, разбудит хищников, дремлющих в сознании людей. Вы полагаете, что последняя бойня исчерпала запасы жестокости в мире? Все говорит о том, что эти запасы, напротив, поразительно выросли.

Честертон когда-то заметил, что христианские добродетели обернулись безумием. И в самом деле, случается, что христианские добродетели обращаются помешательством. Оно может быть буйным. А бывает и старческий маразм. Христианское смирение — добродетель мужественная, предполагающая обоснованный выбор: отвергнуть или принять несправедливость. Мне кажется, он доступен далеко не всем. Чаще всего вместо смирения встречается этакое тупое равнодушие к чужому несчастью. В былые времена христианское смирение шло на эшафот и на костер с высоко поднятой головой, с огнем во взоре, спокойно скрестив руки на груди. Сегодня, безвольно опустив руки, пряча глаза, оно

притулилось в уголке у огня, который его уже не согревает. О, знаю: эти актуальные истины не по вкусу пастырям, проповедующим такое смирение по примеру священников катакомб, что проповедовали мученичество. Что поделаешь! Когда они твердят нам: «Смиритесь!..» — как в свое время епископы и архиепископы, сторонники вишистского коллаборационизма, мы не попадаемся на удочку, мы-то понимаем, что это значит: «Смиритесь с тем, что у вас такие пастыри, как мы...»

Сказанное сейчас о смирении можно отнести и к надежде. Франсуа Мориак, который порой — изредка — благоволит посвятить мне очередной напев своей элегической волынки, как-то похвалился, будто он держит за руку маленькую девочку Надежду, о которой писал Шарль Пеги. Если знаменитый академик и впрямь водит малышку гулять от Ронпуэн на Елисейских Полях до Академии, невесело, должно быть, ей живется! Не дай бог ей вдобавок читать его статьи в «Фигаро». Думаю, она вмиг увянет, познакомившись с мориаковской казуистикой. Я вовсе не возлагаю на господина Мориака вину за то, что надежда — предмет всеобщего мошенничества: скорее, мой знаменитый коллега и сам стал жертвой надува-

тельства. Охотно признаю, что он преисполнен благих намерений, даже переполнен ими: он готов поделиться всем, что имеет. Беда в том, что у него, кроме опасений, ничего нет. И каждый день в «Фигаро» он предлагает их всем. Мне не надо опасений господина Мориака. Я отказываюсь принимать за надежду эту готовность идти навстречу всем опасениям, это своего рода мрачное наслаждение. Меня не проймешь упреками, будто моя непреклонная позиция толкает людей к отчаянию. Я не толкаю людей к отчаянию, я хотел бы силой вырвать их из того смирения, где, в сущности, им вполне уютно, поскольку оно избавляет от необходимости выбирать. Вот это слезливое, пораженческое смирение и есть самое настоящее тупое отчаяние. Толкая людей к отчаянию, я делаю то же и из тех же побуждений, что должен был сделать добрый товарищ парашютиста Шумана, председателя Народно-

республиканского движения[17], сочувствуя его колебаниям и терзаниям: толкнуть его в бездну. Господин Мориак на балконе «Фигаро», похоже, демонстрирует те же симптомы, те же терзания, что и его друг: стоя на краю, он взывает к нам, но не прыгает.

Надежда — добродетель героев. Люди думают, что надеяться легко. Но надеются только те, кто имел мужество отчаяться, отвергнув иллюзии и ложь, где иные находили прибежище, ошибочно принимая их за надежду. Знаю, вы думаете, что я слишком суров к господину Мориаку. У меня нет никаких оснований для личной враждебности к нему, и Господь Бог, коему открыты тайны совести, несомненно, знает, что писатель, измученный множеством книг, где на каждой

---

[17] Примечания: 17

Народно-республиканское движение (MRP) — христианско-демократическая партия, основанная в ноябре 1944 г., составившая, вместе с коммунистами и социалистами, трехпартийную правящую коалицию во Франции 1945–1946 гг.; Морис Шуман (1911–1998) — журналист, автор радиопередач «Свободной Франции» из Лондона, участник освобождения Франции, политический и государственный деятель послевоенной Франции, председатель MRP в 1945–1949 гг. В 1946 году полковник Пасси обвинил Шумана в том, что тот не смог прыгнуть с парашютом во время десантной операции в Бретани: эта история бросила тень на репутацию лидера MRP. В письме к Шуману де Галль замечает: Пасси «ответил оскорблением на низость, заключавшуюся в том, что ему было отказано в суде. В этой низости активно или пассивно участвовала Ваша партия… Вот что происходит при таком режиме, когда само правосудие политизировано». Сподвижник де Голля, реформатор контрразведки полковник Пасси в 1945 г. был

арестован по ложному обвинению и провел в заключении 200 дней, безуспешно добиваясь суда. В 1946 г. ушел в отставку.

странице изливается плотское отчаяние, точно грязная вода, стекающая по стенам подземелья, в самих своих заблуждениях достойнее меня, все понимающего. Но даже из любви к нему я не могу допустить, чтобы оптимизм путали с надеждой. Надежда означает необходимость идти на риск. Возможно, на самый высокий риск. Надежда — это не снисходительность к самому себе. Это величайшая и труднейшая победа над своей душой, которую может одержать человек.

Откровенно объяснившись насчет смирения и надежды, я могу вернуться к завтрашнему миру. Я не предлагаю вам ни смириться перед завтрашним миром, ни надеяться на него. Очевидно, это смирение, эта надежда могут сегодня помочь нам в работе. Не говорите мне в ответ, что вы не можете сами определять будущее, как не можете помешать камням падать с неба или земле содрогаться. Но простите меня! А если мы строим в мире, организованном таким образом, что построенное с неизбежностью оказывается постепенно разрушенным? А если мы строим на фундаменте, который никуда не годится? Вы каждый день слышите, что Франция уклоняется от усилий, что она против. А если наш старый, богатый опытом народ, возможно, в силу разности

сформировавших его племен более чуткий, чем другие, начинает понимать или хотя бы смутно предчувствовать, что его завтрашняя историческая миссия будет состоять именно в том, чтобы первым из народов разоблачить и отвергнуть провалившуюся цивилизацию, которая является не этапом человеческой истории, а отклонением, ошибкой, тупиком? Тогда трагедия Франции обрела бы, призна́ем это, иной смысл, значительно более глубокий, чем тот, что способен увидеть поверхностный наблюдатель. Да, враги Франции явно или неявно обвиняют ее в том, что она не осмеливается смотреть в лицо будущему. Ну а если она как раз начинает прозревать то, что там вырисовывается? А если, повторяю, в истории будет однажды сказано, что она остановилась у последней черты, которую не переступают дважды, у рокового порога цивилизации, бесчеловечность которой стала притчей во языцех?

Францию предала ее элита, и самым тяжким было предательство ее интеллектуальной элиты, ибо она предала традицию и дух Франции, систематически выражая сомнение в том и в другом. Она увлекла страну на тупиковый путь, где капитализм и демократия в результате логичного и естественного их развития поглощаются

марксизмом, где тресты, сокрушив государство, растворяются в супертресте, единственном и безответственном, именуемом современным государством. При условии, что мы согласны называть государством тоталитарный дирижизм, который лишь безжалостно приводит в исполнение все роковые приговоры экономического детерминизма. Преданная своей интеллектуальной элитой, Франция лишена возможности ясно понимать, какая опасность угрожает ей, угрожает вселенской традиции, самым высоким и чистым историческим выражением которой она является. Она должна предчувствовать эту опасность, вернее, ощущать ее лишь инстинктом, как стадо — приближение грозы. И вот, я тому свидетель. С 1940 года я достаточно откровенно говорил о своей стране и сейчас имею право высказать все мои размышления о ней. Я верю, горячо верю, что однажды мир отдаст ей справедливость. Наш народ в массе своей больше не верит в контрцивилизацию, которая растрачивает впустую все человеческие усилия, губит их в грандиозных катастрофах. Как ни пытаются техники убедить наш народ вкладывать в эту цивилизацию свои средства и труд, он позволяет ей забрать лишь то, что не может защитить. Говоря «наш народ»,

«масса», я имею в виду миллионы людей, которые воздерживаются от голосования или голосуют за какие-то программы и партии не потому, что поддерживают их, а потому, что эти программы и партии кажутся им достаточно слабыми, а значит, не представляющими для них непосредственной опасности. Когда мы заранее знаем, что дорога ведет к крутому обрыву и впереди — пропасть, нам ни к чему садиться в новейшую модель автомобиля, способную выжать все 150 километров в час. В случае надобности мы, пожалуй, предпочтем тачку. Так я объясняю успех Народно-Республиканского Движения. Усевшись в тачку под заунывный напев волынки господина Мориака, мы надеемся — впрочем, увы, ошибочно, — что у нас есть еще время, что мы еще успеем поразмыслить перед смертью.

За то, что я так говорю, интеллектуалы-марксисты обзывают меня (правда, не без робости: как-никак я написал «Великий страх благонамеренных» и «Большие кладбища под луной») реакционером. Сами они реакционеры. Они продолжают и намерены довести до конца эксперимент стопятидесятилетней давности, пусть это грозит миру рабством и превращением в экономическую каторгу. Ошибкой либерализма

была вера в то, что система механизмов станет работать сама по себе. Коммунизм механику не меняет, он заставляет ее работать силой и будет заставлять, хотя бы в этой мясорубке погибли миллионы. Как и интеллектуалы-либералы XIX века, интеллектуалы-марксисты намерены устроить механический рай на земле. Для меня механический рай на земле неосуществим и непредставим, так же как механический человек. Для них за этим дело не станет! Не оставляя идею механического рая, они думают, что создать механического человека, робота, куда проще. Зачем они твердят нам, что некогда идеологи экономического либерализма требовали страшных человеческих жертвоприношений так называемому прогрессу? Подправленный марксистами миф о прогрессе по-прежнему алчет человеческой плоти и крови. За двадцать лет советского эксперимента только в России прогресс по Марксу сожрал больше людей, чем прогресс по Бентаму[18] за столетие. А впрочем, оба чудовища суть одно.

Стыдно признаться, я один из немногих католи-

[18] Примечания: 18

Бентам Джереми (1748–1832) — английский философ, теоретик права, основоположник этики утилитаризма.

ков, которые осмеливаются говорить об этом публично. Все, включая самих католиков, прекрасно знают, что эксперимент, который продолжается несмотря на страх и ужас народов, именем и символом которого стала теперь атомная бомба, — все, говорю я, знают, что этот эксперимент необратим, что человечество ведет игру ва-банк, ставит на карту одной гипотезы Карла Маркса свою свободу, честь и даже жизнь. Все знают, что в основе этого уникального, решающего опыта — определенное понимание человека, абсолютно противоположное христианскому, поскольку оно игнорирует первородный грех. Раз мы верим в первородный грех, нас обвиняют в том, что мы не верим в человека. Но механический рай на земле никогда не будет возможен вовсе не потому, что человек причастен греху, напротив: потому, что в нем живет свобода, то есть Божественное начало. Марксизм отрицает или не принимает в расчет Божественное начало в человеке. Ради сохранения в нем этого Божественного начала мы будем приносить жертвы, которые потребуются. Зачем нужны совместные обсуждения справедливости, как будто это слово значит для всех одно и то же? Для марксиста, раба экономической необходимости, справедливость не может означать то же,

что для человека, причастного Божественному началу. Зачем, например, эти спекуляции на теме бедного и бедности под знакомую мелодию волынки? Одни и другие по-разному подходят к проблеме бедности. Для марксиста естественно видеть в бедности лишь социальную язву, с которой важно покончить, так же как с сифилисом или проституцией. Но мы не можем допустить, чтобы идея бедности была столь унижена в сознании людей. О, без сомнения, если так говорить, у нас мало шансов сделать блестящую карьеру на выборах, скорее, мы рискуем не сегодня-завтра получить пулю в затылок. Но в Евангелии и впрямь есть нечто скандальное. Евангельская правда шокирует. Она возводит на крест самого Христа. Неразумно было бы надеяться, что она принесет нам крест Почетного легиона…

Наперекор всем проповедникам оптимизма, среди которых я со стыдом насчитываю так много католиков — сторонников того, что они называют меньшим из зол, мы вправе задаться вопросом, в чем нам следует сомневаться: в себе или в цивилизации техников, над которой они потеряли контроль, в чем сами техники — участники конференций и конгрессов — вынуждены ежедневно признаваться. Открыв газету, легко

убедиться, что между ними ни в чем нет согласия. В Америке и не только заявляют, будто Европа пала. Дело в том, что она позволяет себе опускаться. Миллионы людей переживают унижение Европы, чувствуют себя униженными вместе с ней, но не теряют веры в Европу. Они думают, что последнее слово не сказано, что история самого прославленного континента не может кончиться этим хаосом. Европу опустошила чума тоталитаризма. Этих людей волнует вопрос: считать ли свирепствующую в Европе чуму болезнью европейцев, нельзя ли объяснить ее смертоносную опасность именно тем, что микроб этот для нас нов, как возбудитель туберкулеза для аборигенов Таити? Нам становится все яснее, что контрцивилизация, эта массовая цивилизация, не сможет продолжать двигаться к всемирному рабству, пока не покончит с Европой. Позволим ли мы ей уничтожить Европу или наберемся мужества и уничтожим ее самое? Позволим ли мы заботиться об устройстве мирной жизни людей системе, которая превращает человека в машину и не сулит ему ничего, кроме мирной жизни машин?

* * *

Те, кто полагает, будто христиане рано или поздно сумеют приспособиться к современному миру, не учитывают одного тягостного для человеческого духа факта: современный мир — это по существу мир без свободы. На гигантском механическом заводе, который должен быть отрегулирован как часы, свободе нет места. В этом легко убедиться, приняв во внимание опыт войны. Свобода — роскошь, и коллектив не может себе ее позволить, когда перед ним стоит цель вложить в дело все ресурсы для получения максимальной отдачи. В современном мире положение свободного коллектива относительно ослаблено, и чем свободнее коллектив, тем опаснее его слабость. Предположим, вместо того чтобы производить в умопомрачительном количестве машины, современный мир поставит целью создавать неприбыльные произведения искусства, займется обустройством гармоничных городов, возведением дворцов и соборов, — вот тогда у него, напротив, возникнет необходимость сформировать тип свободного человека… Современный мир признаёт лишь закон эффективности. Вот почему даже демократии опутали

свое население сетью налогов. Мы видим, как во имя фискальной системы они с каждым днем лицемерно укрепляют власть государства. Диктаторы получали в дар свободу граждан, а в случае надобности отбирали ее силой. Позиция демократий скорее напоминает тактику еврея-ростовщика в старой России: будучи заодно и кабатчиком, он требовал от мужика при каждой попойке долговую расписку на небольшую сумму под проценты. В один прекрасный день мужик узнавал, что его земля, скотина, дом и все, вплоть до овчинного тулупа, на нем надетого, принадлежит его благодетелю. Для гражданина демократической страны попойке соответствует война. При каждой войне за свободу у нас отбирают 25 % сохранившихся свобод. Интересно, что останется от наших свобод, когда демократии обеспечат окончательную победу свободы в мире…

Цивилизация машин была бы немыслима без всегда доступного человеческого материала. Проблема социальной справедливости тесно связана с проблемой формирования человеческого материала, вот почему в ней так заинтересованы и диктаторы, и демократии. Человеческий материал следует содержать пристойно, как лю-

бой другой, а свобода, нисколько не стимулируя отдачу, напротив, сократит ее количественно и качественно.

Свобода… для чего она? Зачем она нужна в мире машин? Мало того, она будет становиться все опаснее. По мере того как машины множатся и наращивают неслыханную мощь, малейший саботаж чреват непредсказуемыми последствиями. Думаю, в тот день, когда благодаря новому чуду техники какой-нибудь физик получит в своей лаборатории легко расщепляемое вещество, с помощью которого кто угодно сможет уничтожить целый город, силы жандармерии будут насчитывать девять десятых населения, так что каждому гражданину, переходящему улицу, неминуемо придется дважды снять штаны перед полицейским, дабы убедить стража порядка, что он не имеет при себе ни одного миллиграмма драгоценного вещества.

О, знаю, сейчас это кажется смешным. Кажется, этот странный мир от нас далек. Вы уверены, что успеете заметить его приближение. Он уже пришел. Он в вас. Он формируется внутри вас. Вы уже так не похожи на тех, кто жил до вас, в былые времена! Насколько меньше цените вы свободу! Вы так терпеливы, так много готовы вынести!

Увы, ваши сыновья будут еще терпеливее, смогут вынести еще больше. Ведь вы уже потеряли самую драгоценную из свобод, в лучшем случае сохранили лишь малую ее часть, и с каждым днем эта часть все уменьшается. Ваша мысль уже не свободна. Почти не замечаемая вами многоликая пропаганда день и ночь обрабатывает ее, как формовщик, разминающий пальцами кусок воска.

* * *

Дехристианизация Европы произошла не сразу. Этот процесс шел подобно девитаминизации организма. Человек, теряющий витамины, может долго сохранять видимость нормального здоровья. Потом внезапно проявляются самые тяжкие, самые яркие симптомы. Теперь уже больного не вылечишь сразу, дав ему недостающие вещества. Некоторые формы духовной анемии, по-видимому, столь же опасны, как та запущенная анемия, от которой, несмотря на уход, месяцы спустя после освобождения в конце концов умирали узники Бухенвальда и Дахау.

Если меня попросят назвать самый общий симптом духовной анемии, я с уверенностью отвечу: безразличие к истине и лжи. Сегодня про-

паганда доказывает все, что хочет, и люди более или менее пассивно соглашаются с ее предложениями. О, конечно, за этим безразличием скорее прячется усталость, будто людям опротивела сама способность суждения. Но способность суждения неосуществима, если мы не берем на себя определенные внутренние обязательства. Кто судит, тот берет на себя ответственность. Современный человек не берет на себя ответственности, ибо ему нечем ее обеспечить. Призванный встать на сторону истины или лжи, зла или добра, христианин тем самым закладывал свою душу, то есть рисковал ее спасением. Метафизическая вера была в нем неисчерпаемым источником энергии. Современный человек пока еще способен судить, поскольку он сохраняет способность рассуждать. Но его способность суждения не работает, как мотор без горючего. Все части мотора на месте. Но нет горючего в баке.

Многие видят в безразличии к истине и лжи скорее комедию, чем трагедию. Я считаю его трагедией. Такое безразличие предполагает некую жуткую неприкаянность — не только духа, но личности в целом, включая и ее физический аспект. Тот, кто равно открыт для правды и для лжи, созрел для любой тирании. Кто горит стремлени-

ем к истине, тот горит и стремлением к свободе. Не случайно свободу мысли всегда считали самой драгоценной из свобод, ведь все другие зависят именно от нее. Я говорю не только о свободе выражать свои мысли. Многие миллионы людей в мире за последние двадцать лет лишились свободы мысли — и не только отдали ее, уступив силе, но и отказались и будут отказываться от нее добровольно, как в России, считая такую жертву чем-то похвальным. Вернее, для них это не жертва, а привычка, которая упрощает жизнь. И в самом деле, она чудовищно упрощает жизнь. И страшно упрощает человека. Из этих страшно упрощенных людей тоталитарные режимы рекрутируют убийц.

Но разве в странах демократии не существует по-прежнему свобода мысли? Она вписана там в программы. Однако только сумасшедший не заметит, что граждане демократий все меньше пользуются свободой мысли. Возьмите для примера нынешнюю партийную систему во Франции. Благодаря этой организации электоральных трестов, число которых весьма ограниченно, гражданин демократии привыкает мыслить не индивидуально, а коллективно. Точнее, за него думает его партия, пока государство не нацио-

нализировало эту отрасль индустрии, как и все остальные, и не стало в конечном итоге думать за всех. Опять-таки здесь «думать» означает для меня «судить». Партия судит за каждого из членов партии. Например, партия решает, какая несправедливость должна возмущать, а какая — оставлять людей равнодушными. Их сознание восстает лишь по команде. К сожалению, христиане в этом отношении не отличаются от других. Только вчера христианские демократы выражали возмущение эксцессами (будь то правда или ложь), допущенными в Индокитае солдатами армии Леклерка в отношении лиц, истязавших женщин и детей; однако крайности, происходящие ежедневно в Центральной Европе и в Польше, похоже, их не шокируют. Или, скажем, они при всяком удобном случае клеймят (опоздав на сто лет) мерзавцев, которые в 1840 году, ссылаясь на экономические законы, оправдывали нищету, бич рабочего класса; однако они не возражают против неуклонного истребления во имя тех же законов мелкой буржуазии — гибнущих от голода и холода пенсионеров, в прошлом служащих, мелких рантье, бессовестно ограбленных государством, отнявшим у них пенсии и ренты. Сто лет тому назад утверждалось священ-

ное Право буржуазии именем Порядка. Сегодня утверждается священное Право пролетариата именем Социальной справедливости. Все дело в пропаганде. Именно с помощью пропаганды формируют тоталитарного человека. Воспитание тоталитарного человека предшествует формированию тоталитарного режима. Очевидно, удобнее управлять гражданами именно того типа, о котором я говорил, и демократические режимы находят, что такой человеческий материал во многом облегчает проведение самых нелепых, почти безнадежных экспериментов дирижизма. Посредством противоречивых регулирующих распоряжений демократии потихоньку создают человеческий тип, заранее прекрасно приспособленный к диктатуре.

Христианин не может отчаяться в человеке. На что я надеюсь? На всеобщую, вселенскую мобилизацию всех сил духа с целью вернуть человеку сознание своего достоинства. В этом плане Церкви предстоит сыграть огромную роль. Рано или поздно она ее сыграет, вынуждена будет сыграть. Ведь Католическая церковь уже осудила современный мир — тогда трудно было понять причины осуждения, которое ныне факты оправдывают каждый день. Например, знаменитый «Syllabus»[19], о котором никогда не осмелятся упомянуть современные христианские демократы, слишком трусливые, в свое время был воспринят исключительно как реакционное выступление. Сегодня он звучит пророчески. Тирания не позади, она впереди, и мы должны дать ей отпор, теперь или никогда. Все человечество больно. Лечить нужно человечество. Первая и неотложная задача — вернуть человеку духовность.

Перевод Н. В. Кисловой

---

[19] Примечания: 19

«Syllabus», или «Собрание основных заблуждений нашего времени», издан папой Пием IX в 1864 г., включает 80 «заблуждений», в том числе пантеизм, социализм, рационализм, подлежащих осуждению.

Революция и свободы

Отделаюсь тем, что поговорю с вами о революции. О демократии побеседуем как-нибудь в другой день, на Масленицу, например… а еще лучше, из уважения к религиозным традициям господина Шумана и тем наказаниям, которые нас ожидают (вселенский пост), сделаем это на Пепельную среду. Пепла в мире теперь немерено. Пепельную среду могли бы отмечать во всем мире.

Сорбонна, 7 февраля 1947 года

Для нас, французов, слово «революция» еще не превратилось в феномен технического словаря, чисто технический термин. Мы верим, что революция — это разрыв, абсолют. Та революция, что нам предстоит, будет направлена на систему государственного устройства в целом — или не произойдет вообще. Я употребляю здесь слово «система», а не «цивилизация», поскольку с каждым днем становится все яснее, что система в том виде, в каком она предстает перед нами (или, точнее, которая нас мало-помалу поглотила), — это

не цивилизация, но тоталитарно-концлагерное устройство мира, словно бы врасплох захватившее человеческую цивилизацию и приведшее к величайшему в истории человечества кризису. Две стороны этого кризиса — материальная и духовная — могут быть определены следующим образом: утрата человеком духовного начала в сочетании с завоеванием цивилизации механизмами, вторжением машин, заставших врасплох де-христианизированную и утратившую духовность Европу. Оказалось, Европа почти без борьбы способна принести в жертву невероятно гипертрофированному практическому уму (с его грубо-брутальным опытом) все остальные высшие формы деятельности разума.

Утверждаю, что эта организация изначально носила тоталитарно-концлагерный характер, даже когда она маскировалась под свободу и именовала себя свободой. Ведь либерализм превратил человека в раба экономики с тем, чтобы государство — точнее, тот своеобразный паразит, которому еще хватает наглости именовать себя государством, — могло присвоить себе в надлежащий момент и человека, и экономику. Трестовый капитализм прокладывал путь тресту из трестов, верховному тресту, единственному

в своем роде тресту: обожествленному техническому государству, богу в мире, утратившем Бога. Я уже писал об этом в книге 1930 года «Великий страх благонамеренных» — последний акт этой драмы разыгрался в Виши.

Таким образом, либерализм проложил путь марксизму. Великие техники либерального толка, равнодушно приносившие в жертву миллионы человеческих жизней либеральной технике, способны в наши дни столь же равнодушно принести в жертву новые миллионы жизней какой-то иной технике — во имя прежнего мифа. Да, я абсолютно уверен, техники-либералы 1830 года ныне вполне могли бы превратиться в техников-марксистов. Чтобы сделать это, им понадобилось бы всего лишь поменять словарь. Они могли бы сохранить прежнюю трактовку человека как неизменно эволюционирующего человека-зверя. Я ставлю здесь проблему именно в той форме, в какой надлежит ставить ее романисту: мне глубоко наплевать на технику, в моем поле зрения находится исключительно человек. Я, например, хорошо представляю себе пролетария образца 1830 года и не нуждаюсь в том, чтобы копаться в каких-то статистических данных. Никто не убедит меня, что этот пролетарий

испытал на себе кошмарную диктатуру закона спроса и предложения исключительно в силу своего невежества или своей трусости. Человек 1830 года не отличался большей трусостью по сравнению с крепостным XII века. А ведь мелкие интеллектуалы хотели бы убедить нас, что этот крепостной, ломая шапку, униженно представлял жену и дочь своему барину, сжимая ягодицы (поставьте-ка себя на его место, дамы!) при мысли о том, что тот, не дай бог, откажется от такого предложения и ему придется идти самому.

Когда в 1830 году рабочий принимал решение сдохнуть от голода, это означало, что ему в голову вбили: он умирает за прогресс. Он отдал жизнь за прогресс в мире машин, за механический рай, и именем этого рая он теперь готов укокошить других. Да, может быть, изменился музыкальный инструмент, но мелодия все та же!

Я пришел сюда не затем, чтобы кого-то в чем-то наставлять. К элитам я не обращаюсь — меня от них уже тошнит. Точнее, я обращаюсь к элитам, но лишь в качестве скромного представителя миллионов простых людей, которых я хорошо знаю — ведь я один из них. Да, я один из них, и вам не уговорить меня считать иначе; я один из середнячков. Но я принадлежу ко все более редко

встречающейся разновидности середнячков: я — середнячок, сохранивший за собой свободу; середнячок, которого пропаганда еще не приучила прыгать через все предлагаемые ею обручи. Середнячок побаивается техника; середнячок перед техником — все равно что дрессированный пес перед дрессировщиком. Но я не поддаюсь дрессировке, я отношусь к прямоходящим. Я прямоходящий человек! Не претендую на то, чтобы выступать от имени избирателей. Избиратели выдрессированы для исполнения цирковых номеров. А цирковых площадок существует немало! Центральный французский цирк вчера назывался так, а сегодня называется сяк — какое это имеет значение? Избиратели выдрессированы для исполнения цирковых номеров. Но все же в каждом избирателе есть что-то человеческое, вы не находите? Ну вот, как раз от имени этого человека я и выступаю, или, по крайней мере, от имени того немногого, что от этого человека осталось. Людей я знаю получше, чем их знают техники, ведь дрессировщик знает дрессируемое им животное только с двух сторон: его страх и его голод. Я знаю людей получше, чем они. На страницах моих книг запечатлены живые люди, а если столь уверенные в себе техники попытаются

последовать моему примеру — в большинстве случаев из этого выйдет полная нелепость.

Нет, я вовсе не утверждаю, будто они только и умеют, что пользоваться людьми в своих целях. Среди них встречаются и такие, кто полагает, будто любит людей; на самом-то деле они в них любят самих себя, идею, во имя которой они всегда готовы принести этих людей в жертву. Они предстают перед человеком со всеми своими приспособлениями, статистическими выкладками, тестами и психологическими методиками, будто другие техники — перед стихотворением Бодлера. Закончив же свою работу, эти бедолаги вдруг видят какого-нибудь подростка пятнадцати лет, которого, может, только что заставили пересдавать экзамен на аттестат зрелости, но который получил от Бога божественный дар поэзии. Он открывает глаза, созерцает, и в мгновение ока божественное стихотворение — разрезанное педантами на маленькие кусочки — чудесным образом складывается из этих разрозненных фрагментов и принимается петь на радость своему другу.

Увы! Я думаю о словах Иисуса, исполненных тайны и пронзительности: «В те времена окажутся ли среди вас мои друзья?» Несомненно, близок

тот час, когда человечество, сделавшись пассивным объектом лабораторных исследований, подобно кроткому животному в руках вивисекторов, сможет насчитать все больше и больше спасителей с обагренными кровью руками — и ни одного друга!

До сей поры человечество являлось жертвой множества экспериментов, но в прошлом эксперименты эти носили эмпирический характер — их придумывали на скорую руку, иногда они противоречили друг другу. Теперь же оно впервые входит в превосходным образом оборудованную лабораторию, снабженную всеми техническими ресурсами; есть опасение, что выйдет оно отсюда безнадежно искалеченным. И тогда сотрудники лаборатории вытрут руки о свои алые блузы; и всему придет конец. Я имею полное право понаблюдать за деятельностью этой лаборатории. Лаборанты утверждают, что полностью уверены в себе. Но так ли они уверены в том, что именно распростерто на их операционном столе? А может, человек — не совсем то, что им кажется? А может, их определение человека в один прекрасный день будет опровергнуто или скорректировано? Вот, к примеру, они считают человека работящим животным, подчиненным

детерминизму всего сущего и в то же время способным неограниченно совершенствоваться. А что, если человек и впрямь создан по образу и подобию Божию? Может, в него заложена какая-то толика — ну пусть совсем небольшая — свободы; к чему же тогда приведут все эти эксперименты, как не к повреждению основополагающего органа? А что, если в человеке заложен принцип саморазрушения, эдакая таинственная ненависть к себе самому, которую мы именуем первородным грехом; техники не преминули обратить на него внимание, ведь этот принцип объясняет все самые страшные разочарования в истории. Правда, они приписывают этот грех не человеку, а дурной организации мира. А ну как они ошибаются? А что, если неправедность соприродна человеку и всякое притеснение лишь усиливает ее дурное воздействие? А что, если человек может реализовать себя только в Боге? А что, если ампутация Божественного начала в человеке — или по меньшей мере его систематическое атрофирование вплоть до такого состояния, когда оно, иссохшее, само отпадет от тела — как какой-нибудь орган, в котором более нет циркуляции крови, — обратит человека в свирепого зверя? Или, что еще хуже, в зверя навечно одомашнен-

ного, ручного? Или, наконец, зверя с признаками аномального поведения?

Ведь господство машин — не просто социально-экономическая ошибка. Возможно, это еще и человеческий порок, сопоставимый с наркоманией, с зависимостью от героина или морфина, как если бы оба или все трое выказывали одно и то же отклонение в развитии нервной системы; двойной порок — воображения и воли. Отклонение от нормы у наркомана — это не сам факт его зависимости от яда, но постоянно испытываемая им потребность прибегать к этому яду; прибегать к извращенной форме бегства от действительности и от самого себя — подобно тому, как вор бежит из только что ограбленной им квартиры. Никакое лечение от наркозависимости не способно излечить несчастного от его лжи и примирить его с самим собой. Да, я отдаю себе отчет в том, что подобная аналогия многим может показаться на первый взгляд комичной. Но я вовсе не намереваюсь осуждать машины как таковые. Миру действительно грозит опасность погибнуть от машин, как наркоману — от столь любимого им яда; это означает, что современный человек ожидает от машин — не осмеливаясь сказать об этом вслух, а может, и признаться в этом себе

самому — не помощи в преодолении жизненных трудностей, а обходных маневров по отношению к жизни, как обходят какое-нибудь непреодолимое препятствие. Двадцать лет тому назад янки хотели заставить нас поверить в то, что засилье машин — симптом исключительно высокого натиска витальной энергии! Если бы дело обстояло именно таким образом, мировой кризис уже завершился бы, а на самом деле он все ширится и принимает все более аномальный вид. Человек эпохи машин, отнюдь не олицетворяя собой исключительную витальную энергию, несмотря на весь грандиозный прогресс, осуществленный профилактической и традиционной медициной, скорее напоминает невропата, у которого состояние возбуждения регулярно сменяется депрессией; невропата, который подвергается двойной угрозе — впасть в безумие и лишиться способности действовать. Может случиться так, что в будущем техника станет иметь дело с индивидом, напрочь лишенным способности к самозащите, — вот что я имел в виду.

Так называемая цивилизация, продолжающая именоваться этим словом — и это притом, что по части разрушения она переплюнула всяческое варварство, — угрожает не только творениям рук

человеческих; она угрожает и самому человеку; она способна глубоко изменить природу человека, притом ничего к ней не добавляя, но кое-что из нее изымая. Сделавшись (благодаря работе колоссальной пропагандистской машины) в той или иной степени хозяйкой нашего интеллекта, она (быть может, совсем скоро) окажется в состоянии употребить человеческий материал в своих собственных целях. Если вы настолько наивны, что верите, будто чудовищные эксперименты немецких ученых в один прекрасный день не будут продолжены там или сям, что они не соответствуют духу этой технической цивилизации, — мне остается только собрать свои листочки и попросить у вас разрешения покинуть трибуну. В этом случае я предоставляю вам возможность самим зайти в лабораторию и отдать себя в руки ее лаборантов!

Молодые люди из числа моих слушателей, которые рассчитывают, что зрелые мужи моего возраста помогут вам не переступать этот роковой порог, должны приготовиться к жесточайшим разочарованиям. Сегодня эти мужи советуют вам вернуться к вашей работе, как если бы человечество возвращалось с каникул — вместо того, чтобы выйти испепеленным из

величайшей катастрофы в истории, во всех историях. Они нуждаются только в утешительных истинах. Но истина не утешает — она обязывает.

Несомненно, в моих словах не содержится ничего утешительного. В глубине сердца я полагаю, что произношу именно те слова, которые и должны быть произнесены гражданином моей страны — если он стремится говорить именно по-французски. Я всегда обращался к гражданам своей страны со словами правды. Даже в самое страшное, в самое безнадежное время я никогда не стремился оправдать Францию за счет лжи. Мне известно, что в 1940 году мы жестоко разочаровали тех, кто в нас верил. Может статься — да что там, это наверняка именно так, — мы и сейчас их разочаровываем. Но вскоре несущие ответственность за все это поколения исчезнут с лица земли — и мы вместе с ними. Ну и ладно! Мы рождаемся, как и умираем, не с теми, с кем хочется, но с кем придется. Те поколения французов, к которым принадлежу и я, будут нести перед историей ответственность — ведь история не занимается казуистикой, ее суждения носят абсолютный характер — за полное гражданское и военное поражение, при котором удар был нанесен и по престижу нашей мощи, и по ее ин-

струментарию. Однако наша страна сохранила за собой ресурсы того огромного духовного престижа, который был аккумулирован Францией за многие столетия. Заявляю вам со спокойной уверенностью, что рано или поздно мы ввяжемся в новую войну — не во имя завоевания мира и его рынков, но во имя его спасения.

Самая мягкая констатация, какую можно сформулировать в отношении современной цивилизации, так это ее полное несоответствие традициям и духу нашего великого народа. Он пытался подчиниться этой цивилизации, чтобы выжить; но он проиграл, и проиграл по-крупному. Наш народ рискует потерять все в этом саморазрушительном, направленном против нашей собственной истории порыве. Тоталитарно-концлагерная цивилизация постепенно ослабила его, но она не сможет заставить его отказаться от самого себя.

В ту эпоху, когда цивилизация машин — мы можем назвать ее, никого при этом не задевая, «англо-американской», поскольку именно Америка придала ей окончательную форму, а родилась она в Англии (с первыми хлопкопрядильными машинами), — в ту эпоху, когда эта цивилизация только начинала завоевывать мир, Франция

выпустила Декларацию прав человека, которая стала ее последним посланием миру. То был клич, исполненный веры в человека, в братство людей; но в то же время то мог бы быть крик проклятия в адрес грядущей цивилизации, которая попытается подчинить человека вещам. Пройдет время, и однажды историки станут утверждать, что Франция оказалась завоевана цивилизацией машин — той самой капиталистической цивилизацией, которая с самого момента своего рождения была обречена превратиться в цивилизацию тоталитарную — тем же способом, каким один народ завоевывает другой. Но и весь мир, или, по крайней мере, часть его, также оказался завоеван этой цивилизацией, был захвачен силой. Завоевание мира при помощи чудовищного союза обмана и машин когда-нибудь будет истолковываться людьми как событие, сопоставимое не только со вторжениями Чингисхана или Тамерлана, но и с величайшими нашествиями доисторических времен, все еще очень мало изученными.

Именно такую картинку я хотел бы запечатлеть в вашем мозгу. Прежде всего заметьте себе, что все мировые цивилизации наследовали некоторые составляющие друг у друга, передавали друг другу факел. Те из них, кто может утверждать,

что они родились на той же земле, на какой и развивались, тоже имеют основания связать себя с другими цивилизациями — за счет глубинных параллелей и типологической близости. И даже цивилизация южноамериканских майя чем-то напоминает о цивилизациях, развивавшихся на берегах Евфрата или Ганга. Совсем иначе обстоит дело с завоеванием человеческой цивилизации машинами: в этом случае происходит рождение не какой-то очередной, обычной цивилизации, но цивилизации, напрямую не связанной ни с одной из своих предшественниц. То будет первая материалистическая цивилизация, первая из цивилизаций материи. Возникла она в мире, который не занимался ее подготовкой и не стремился к ее появлению — совсем наоборот, мир готовился к чему-то иному. Подумать только: вселенская тоталитарно-концлагерная организация общества! Вы с легкостью можете представить себе, что сказали бы по поводу этого кошмара Монтень, Паскаль или Жан-Жак Руссо. Цивилизация машин — событие, которое можно назвать непредвиденным, почти что случайным. Говоря о вторжении, я хорошо понимаю, что́ я имею в виду. Я уже сказал, что цивилизация эта родилась в Англии. Завоевание цивилизации машинами

четко совпало по времени с основанием Британской империи. Англичане мне чрезвычайно по душе, и я даже обратился к ним с письмом, на которое они, правда, так и не ответили; но это еще не повод не высказывать своих соображений по их поводу. Гений обмана родился за пределами Англии; естественно, среди нас всегда присутствовали обманщики, из числа тех, кого еще в Древней Греции именовали людьми денежными. (В Евангелии сказано: «Бедные всегда будут с вами» — это одно и то же!) И пусть такого рода люди неизменно надеялись — в той или иной степени — сделаться однажды властелинами всего мира, но их чурались, к ним относились с подозрением. Вспомните, как в Средние века отзывались о ростовщичестве и ростовщике… В монархиях старого времени почти все толстосумы — от Жака Кера до Фуке — плохо кончили. Однако эти люди, возможно, ожидали своего часа. И вот наконец час их пробил — стал ли он для них урочным, неизвестно. С изобретением машин в их руках разом, вдруг оказался недоставaвший им инструмент. Конечно, машины никакой ответственности за случившееся не несут. Мне как-то не хочется посылать машины в Нюрнберг для участия в процессе — слишком велики были

бы расходы. Количество машин возрастало не в соответствии с потребностями человека, но в соответствии с потребностями обмана — в этом вся суть. Невозможно спутать честную службу знакомств с публичным домом. Наука поставляла машины, а обман проституировал их; обман требует от науки все большего количества машин на нужды предприятия, которое он хотел бы распространить по всей планете. После этого современное государство взяло это дело под свой контроль. Увы, можно вообразить себе — это ничего не стоит — процветающие правительства, покровительствующих развитию наук правителей (как в былые времена множество государей покровительствовали развитию словесности и искусств), побуждающих инженеров к созданию новых механических конструкций. Тем самым машинный мир стал бы средством, а не целью; он не перевернул бы все бытие людей, не стал бы присваивать едва ли не всю человеческую энергию; он облегчил бы людям жизнь и даже украсил бы ее — ведь он и сам стал бы искусством. Но, повторяю, вселенский обман сразу распознал в машинах инструмент своего могущества. Здесь имел место не процесс медленной эволюции прежней цивилизации в направлении новой, но

своего рода насильственный переворот. Мастера обмана оказались в положении вооруженного человека перед лицом безоружной группы людей. Повторяю, цивилизация машин поначалу чем-то напоминала банду. Она была организована с целью систематического вымогательства денег у всего мира, а затем — постепенно — упорядочила этот мир по собственному подобию. Она продолжает завоевывать его. Да, мы чересчур часто забываем, что она еще не полностью его завоевала.

Я хотел бы помочь вам пересмотреть некоторые условности. Миллионы людей, целые континенты не столь охотно, как принято считать, открывают объятия цивилизации машин. Они завоеваны ею или будут завоеваны ею — в точном смысле этого слова. Им будут навязаны машины — будь то силой или войной, как англичане некогда навязали китайцам опиум, чтобы на китайском рынке продолжился сбыт индийского опиума. Возьмем в качестве примера Японию — мне этот пример представляется типичным: за многие столетия в Японии сформировалась одна из самых выразительных и утонченных цивилизаций, когда-либо существовавших в мире; ее удалось превзойти лишь цивилизации

Китая (еще более высокоразвитой). С начала XIX века европейская банда по производству машин постаралась заставить Японию открыть ей двери. Япония сопротивлялась на протяжении сорока лет, но было уже поздно: цивилизация машин всунула ногу между дверью и дверным косяком. Машинная зараза наводнила Японию; под действием пропаганды и европейского примера возникли новые потребности. Народ охватило горячечное стремление к обману; так возникла известная вам Япония. После чего прежние наставники и инструкторы стали лечить ими же напущенное на эту страну безумие при помощи атомных бомб.

Перед лицом этой цивилизации материи, перед лицом этой тоталитарно-концлагерной организации, поглощающей все — включая и сами демократические режимы, Франция выглядит одинокой. Ведь, как вам известно, демократические режимы соскальзывают к диктатуре; они изначально представляют собой экономические диктатуры. Демократические страны выиграли войну и проиграли мир, используя характерные для диктатуры методы. Идиоты утверждают, что поступить по-другому они не могли. На это я отвечу, что роль упомянутых стран как демокра-

тий заключалась в том, чтобы не вести войну, а вовремя предупредить ее. Они же вместо этого терпимо относились к диктаторским режимам, а то и всячески благоволили им — до той поры, пока они верили, будто им удастся воспользоваться этими режимами в своих целях. После этого они явились в Мюнхен в рубище и с вервием на шее. Именно мюнхенцам следовало бы расположиться на скамье подсудимых между господином Риббентропом и маршалом Герингом, когда выступал представитель маршала Сталина и, апеллируя к человеческой совести, рассуждал о священных правах человеческой личности. Что ж, перед лицом этой колоссальной тоталитарно-концлагерной организации Франция может показаться более слабой, чем Афины перед лицом Рима. Но если эта гигантская цивилизация заключала в себе прирожденный порок гигантизма? Вы скажете, что она располагает мощными средствами, против которых беззащитна подобная нашей цивилизация. Но что, если эта цивилизация представляет собой контрцивилизацию, своего рода монстра, обреченного со временем почти полностью утратить контроль над использованием имеющихся в его распоряжении средств? Что, если она мало-помалу оказалась перед необходи-

мостью пользоваться этими средствами в ущерб самой себе? Ведь, в конце концов, среди нас нет никого, кому не привиделся бы в дурном сне порожденный плохо отрегулированной атомной бомбой апокалиптический взрыв, приведший к полному уничтожению всех континентов. Вы полагаете, что неслыханные разрушения, имевшие место во время последней войны, будут иметь перед лицом истории иной смысл, нежели тот, о котором я здесь толкую? Ценность цивилизации измеряется тем уровнем безопасности, которым она наделяет своих граждан; никогда за время существования цивилизаций люди не были еще низведены до жалких временщиков, оккупировавших собственную планету, которая завтра, быть может, окажется в полном распоряжении рядового техника…

Понимаю, разумеется, что принуждаю вас сейчас сделать над собой немалое усилие, чтобы, так сказать, приспособить свое мышление к новому взгляду на вещи, к необычному истолкованию событий, которые чересчур близки вам, и вам недостает временной дистанции, чтобы верно оценить их. Вы, конечно, держитесь за свое, за одну успокаивающую, простецкую и упрощенную мысль: не может существовать двух разных

человеческих цивилизаций, все цивилизации всегда представляли и представляют собой лишь различные формы одной-единственной цивилизации. Но простите! Разве нельзя то же самое отнести и к варварству? Разве варварство не может точно так же принимать различные формы? И не станем ли мы в ближайшее время свидетелями расцвета технического варварства? Ведь варварство — совсем не то же самое, что невежество. Не следует путать варвара с дикарем. Варвар является таковым лишь в силу того, что ему неведомы — или он *намеренно игнорирует* те высшие проявления духовного начала, которые и делают человека достойным своего имени. Мы можем с легкостью вообразить, что человечество вернется к варварскому состоянию — то есть исключительно к культу силы, — при этом в полном объеме сохранив все достижения техники. Каким образом техника может уберечь нас от варварства? Ведь люди наделены этими высшими проявлениями духовного начала, о которых я только что говорил, вовсе не благодаря современным техникам. И они это знают. Было бы непростительно разделять точку зрения тех бедолаг, для которых представление о цивилизации неотделимо от представления о комфорте

— даже если комфорт этот стоит им бесчисленных войн и катастроф. Они похожи на убийцу перед казнью, который наслаждается последней своей трапезой и, как говорят в народе, «набивает себе брюхо», а потом отправляется прямиком на электрический стул.

Ну а вы, молодежь! Те из вас, молодых, кто меня слушает! Разные мошенники призывают вас клеймить меня как Кассандру, а вас порой похваливают за то, что вы с радостью и мужеством принимаете этот нынешний мир — как если бы он был вашим творением и вы не получили бы его из наших рук. Может, он и вправду ваш; может, он окажется вашей могилой. И если он еще какое-то время продержится и ничто не остановит его в своем неумолимом развитии, то вам выделят место в его оссуарии. Безмозглые христиане и убогие бессовестные попы, которых пугает мысль о том, что их сочтут реакционерами, — все они призывают вас христианизировать мир, который вполне сознательно и открыто мобилизует все свои ресурсы для того, чтобы обойтись без Христа, чтобы воцарилось правосудие вне Христа, правосудие без любви — то есть такое правосудие, во имя которого Христа бичевали и распяли на кресте. Думаю, среди вас, молодые люди, есть

немало истинно верующих и живущих по закону веры. К ним апеллируют именем правосудия, и таким образом совесть каждого из них подвергается испытанию шантажом; перед шантажом этим трепещут ныне те несчастные, о которых я только что говорил, — трепещут вполне добродетельно и усердно, но бесхарактерно. Не отдавая себе отчета, они выказывают то же самое ослепление и совершают ту же самую ошибку, что и духовенство XIX века, во имя порядка в конечном итоге признавшее за буржуазией своего рода божественное право. Теперь право перешло в другие руки, и те, о ком я веду речь, наблюдают за реформированием другого божественного права — права пролетариата.

«Вы познаете древо по плодам его», — сказано в Писании. Мы признаем за плодами определенную правомочность, справедливость — даже если она именует себя «социальной справедливостью» (как мы некогда уже констатировали на Майорке во времена испанского Крестового похода наличие определенного порядка, также именовавшего себя «общественным»; к тому же он полагал себя «христианским»). Во имя «социальной справедливости» — подобно тому, как вчера это делалось во имя «общественного поряд-

ка», — убивают, депортируют, пытают миллионы людей; порабощают целые народы; перемещают их с места на место, будто скот. Убивают, а самое главное — лгут. Лгут столь необдуманно, что в данном случае даже не приходится говорить о намеренном обмане общественного мнения, ведь общественное мнение не поддается на эту ложь; просто люди утрачивают всякую потребность в истине и даже не стремятся познать ее.

Истина не от Бога, правосудие без любви — все это порождает Зверя. Безумием было бы считать, что правосудие, из которого изъяты религиозная, христианская основа и вообще всякое духовное содержание, все-таки сохраняет некую видимость истинного правосудия и может на что-нибудь сгодиться… Это как если бы вы заявили мне, что заболевший бешенством пес все-таки остается домашним животным, которое можно продолжать держать при себе. Правосудие без Бога выпустили в утративший Бога мир, и оно не остановится — да, скажу безо всяких прикрас; я бы хотел заявить об этом самым доходчивым образом — не остановится, пока не уничтожит весь мир.

Прежде чем требовать от современников, чтобы они отважно взялись за усовершенство-

вание человеческой цивилизации, следовало бы помочь им преодолеть тот комплекс неполноценности, который вырабатывает у них своего рода заторможенность суждения и подавляет волю по отношению к происходящему. С самого детства вы были заворожены материальной мощью современного мира. День и ночь вы подвергаетесь исходящей от него мощнейшей пропаганде. Дело кончится тем, что вскоре вы уже не сможете представить себе какой-то иной реальности. Теперь уже не вы творите эту цивилизацию и поддерживаете ее существование — теперь она формирует вас, постепенно превращает вас в собственную вещь, непрестанно насилует ваш мозг. Прошу, умоляю вас прислушаться к сказанному мной и приложить необходимые (болезненные) усилия к тому, чтобы представить себе мир без нее. Быть может, для вас сделать это уже и теперь не менее сложно, чем мысленно вообразить себе четвертое измерение. Ну так постарайтесь, по крайней мере, убедить себя, что цивилизация эта может погибнуть, причем от собственной руки. Ведь она, эта оптимистическая цивилизация — заметим мимоходом, — не внушает особого оптимизма! Обратите внимание, например, какой безысходностью веет от литературы Америки

— этой столицы, Мекки, главного святилища цивилизации.

Да, я точно знаю, о чем вы сейчас подумали! Вы думаете, назад возврата нет, так ведь? Ведь у нынешней цивилизации имеется собственная философия, причем в соответствии с первой аксиомой этой философии отрицается свобода человека, утверждается его подчинение истории (а та, в свою очередь, подчинена экономике). Молодые христиане из числа моих слушателей! Хотя вы не рассуждаете на марксистский лад, но все-таки некоторые из ваших умственных рефлексов носят марксистский характер. Человеческое общество видится вам как несущийся по рельсам локомотив; но не лучше ли сравнить его с произведением искусства, постоянно видоизменяемым по произволению его творца? Если художнику захочется вернуться к прежнему состоянию — все-таки это будет не вполне прежнее состояние. Здесь нет механического повторения, а есть обогащение, обновление пройденного за счет накопленного в промежутке опыта. Вот что вам приходит в голову: «Человечество не может забыть однажды выученный урок, и то, что уже было освоено наукой, освоено навсегда». Вслед за этим, смеха ради, вы предлагаете в виде гипо-

тезы полное уничтожение всех машин. Но при этом вы упрощаете проблему до абсурда — с тем, чтобы не заниматься ее решением. Отметьте, ваша гипотеза абсурдна в логическом, но не в историческом отношении. Напротив, очень просто представить себе — вслед за трагически закончившимся экспериментом, который уничтожил бы человечество, — какую-нибудь Варфоломеевскую ночь для механизмов и даже для техников, которую могли бы устроить одержимые злобой и отчаянием людские массы. То обстоятельство, что человек негодует при мысли об уничтожении драгоценных этих машин, свидетельствует о глубочайшей деградации современного человека. Он обожает машины и одновременно бесстрастно взирает на уничтожение теми же самыми машинами миллионов людей…

Утверждаю: вы неверно ставите вопрос. Не в машинах кроется корень зла, он заключен (или будет заключен) в самом человеке, формируемом цивилизацией машин. Машина лишает человека духовного начала и одновременно многократно умножает его возможности. Здесь есть противоречие, заставляющее содрогнуться. Именно дехристианизированному человеку, более чем когда-либо склонному считать себя безответ-

ственным животным, недавно открылся секрет расщепления плутония и тем самым — способ уничтожить все человечество разом. Вы можете сколько угодно повторять мне, что это дар Божий, — я вам все равно не поверю. В Евангелии сказано: «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын попросит у него хлеба, подал бы ему змею?» Возможно, мы недостаточно размышляем над этим последним предупреждением Провидения! Цивилизация машин обещала нам все больше и больше машин, и вот, откуда ни возьмись, появляется машина машин, Царь-Машина, в стальных боках которой скоро окажется заключено больше энергии, чем ее потребовалось для приведения в действие всех машин с момента их изобретения. Короче говоря, это будет такая машина, которая сможет в мгновение ока уничтожить все остальные машины… Неужели мы смиримся с тем, что однажды последний выживший после планетарной катастрофы выбьет ножом на каком-нибудь отполированном ветрами утесе надпись — то будет, разумеется, последняя из когда-либо созданных лапидарных надписей: «Человеческая цивилизация двигалась своим путем, но ее завоевали машины, они размножились и в конце концов уничтожили

эту цивилизацию»? (Хорошо еще, если к тому времени автор надписи окажется способен составить ее на латыни!) Эту фразу можно было бы также приписать нарисованной каким-то американским карикатуристом обезьяне (да, я тоже почитываю американские журналы)… Человечество полностью истреблено в результате ядерной войны, за исключением двух летчиков из враждующих между собой лагерей, которые встречаются над необитаемым островом в Тихом океане. Разумеется, они начинают сражаться друг с другом; в этот момент на вершине кокосовой пальмы сидят взрослая обезьяна и обезьянка-малыш; они наблюдают за тем, как охваченные пламенем самолеты падают в море. Взрослая обезьяна задумчиво бормочет: «Ну вот, теперь придется все начинать сначала…»

Принять современный мир каков он есть означает покорно смириться с ролью пассивного объекта чудовищного эксперимента — эксперимента, который, по всей видимости, не может оказаться успешным, ведь доселе он неизменно приводил ко все более разрушительным катастрофам. Наверное, среди вас и поныне отыщутся те, кто полагает, будто машины их раскрепощают. Они раскрепощают их временно, только

одним, вполне определенным образом, но и это чрезвычайно сильно впечатляет людей; они в какой-то мере освобождают их от неумолимого хода времени; позволяют «выиграть время». Только это, и ничего больше. Но выигрыш во времени не всегда является преимуществом. Например, когда вы направляетесь к эшафоту, лучше все-таки идти пешком.

Если вы лично владеете вашим персональным механизмом, который принадлежит вам и только вам, у вас может возникнуть иллюзия; однако в целом механизмы уже зависят и наверняка будут в еще большей степени зависеть от тоталитарно-концлагерной организации общества, окажутся сосредоточены в руках государственных техников. Вы можете держать у себя в доме хоть тысячу электрических осветительных приборов один хитроумнее другого (и один дороже другого), но если машина откажется поставлять вам электричество — вы окажетесь в темноте. Более того, если она запретит продажу свечей (буде воск понадобится ей для каких-то собственных целей), вам придется ложиться спать в темноте. Наряду с электричеством точно так же она может прекратить поставлять вам тепло.

Из газет вы узнаете, что почти во всем мире

возникают лаборатории по расщеплению атома — по образцу сногсшибательных американских заводов; но вы продолжаете спать спокойно! Да это, позвольте сказать, просто непостижимо!.. Вы думаете, те, кто станет контролировать эти колоссальные энергоресурсы, никогда не будут злоупотреблять ими и не направят их против человека? Тем лучше для вас! Кстати, в случае злоупотребления властью вы всегда сможете подать жалобу в районный комиссариат полиции!

Мы стоим перед этим миром, а точнее, находимся на его пороге, и дверь за нами еще не захлопнулась. То есть я имею в виду, что он с легкостью обойдется без нашего одобрения, но все-таки еще побаивается нашего отказа. Он не просит, чтобы мы любили его; в любви он вообще не нуждается — ему надо только, чтобы мы его претерпевали. Утверждая, что он подчинил себе силы природы, он ожидает от нас, что и мы подчинимся ему, его техническому детерминизму, как мы подчиняемся самой природе, детерминизму сущего — холоду, теплу, дождю, землетрясениям и ураганам. Он опасается нашего суждения, нашего разума. Он не хочет быть предметом дискуссий. Он утверждает, что лучше нас самих знает, кто мы такие; он навязывает

нам свое видение человека. Он предлагает нам производить, производить слепо и любой ценой — притом что он самым устрашающим образом только что продемонстрировал нам свою разрушительную силу. Он связывает нас по рукам и ногам, командует нами, торопит заниматься производством — чтобы не дать нам времени задуматься. Ему хочется, чтобы мы опустили взор свой и глядели только на производимые нами объекты — лишь бы не обращать свой взор на него. Потому что, как и все чудовища, он страшится прямого человеческого взгляда.

Колосс не так силен, как кажется. Нам уже известно по опыту — а вскоре это станет еще очевиднее, — что техническое варварство все больше тяготеет к тому, чтобы обратить на самое себя те чудовищные средства разрушения, которыми оно располагает. Нельзя не увидеть в катастрофах последнего времени симптомы суицидального помешательства. Мы вполне можем ожидать, что в скором времени это чудовище, под влиянием острого приступа одолевающего его невроза, выстрелит себе в голову из соразмерного ему револьвера — разумеется, заряженного атомной бомбой. Увы, в этом случае нам не удастся его пережить. У этой цивилизации есть одно уязвимое

место: государство. И действительно, подобная цивилизация не в состоянии перенести существование истинных государств в том смысле, который некогда вкладывали в это слово. Современное государство тяготеет к превращению в трест, а трест этот руководствуется характерной для всех трестов моралью, как то: все средства хороши, чтобы укрепить собственную власть и набить закрома, государство это соединяет в себе исключительную мощь с уязвимостью — в силу своей необычайной, чудовищной, растущей усложненности. Современное государство — это административная диктатура, постоянно тяготеющая к превращению в диктатуру полицейскую. Поэтому противостояние граждан государству постепенно приобретает — во всяком случае, в некоторых странах — характер освободительного движения. Черный рынок во Франции — если рассматривать только один из его аспектов и учитывать исключительно основных его бенефициариев — может напомнить нам Америку времен сухого закона. Но есть и другой черный рынок: рынок миллионов граждан, которые поначалу искали в такого рода деятельности лишь мелкую выгоду и скромный профит, но мало-помалу вошли во вкус и стали находить

удовольствие от постоянной борьбы с вездесущим государством, в саботаже, в неизменном обкусывании этой беспокойной инстанции, не имеющей ни идеологии, ни ответственности. Именно так всегда и начинались революции. Партии, именующие себя революционными, ныне уже полностью утратили революционный дух. Но мы должны двигаться дальше.

Я обращаюсь к молодым моим слушателям: порой вы утверждаете, что ничего поделать нельзя. Вы верите в это, чтобы избавиться от необходимости действовать. Революции подготавливаются в умах; революция становится реальностью благодаря революционным идеям. Революции начинаются в тот момент, когда они становятся желанными. Так и своеобразный бесчеловечный миропорядок, который нам сейчас угрожает, поколеблется, если вы перестанете в него верить. Тех, кто намеревается навязать его миру, на самом деле лишь жалкая горстка. Предположим, что Европа уничтожена. Предположим, что какой-либо катаклизм делает европейца (который сам же этот катаклизм и спровоцировал) совершенно беспомощным. И что же, неужели вы полагаете, будто весь остальной мир повторит этот опыт — или повторит его в той же форме?

Неужели вы полагаете, будто цивилизация материи не исчезнет одновременно с исчезновением этих людей — ненасытных, одержимых гордыней и безумным культом техники, бесноватых из-за своего рода духовного авитаминоза, который я неустанно обличаю? Ведь европеец — не материалист по природе своей, а лишенный духовного начала человек, забывший дорогу в храм христианин. Его преступление — это преступление извращенной духовности. Диктатуры как правого, так и левого толка используют эту извращенную духовность в своих интересах — или как минимум заполняют ту пустоту, которую она оставляет в сознании людей. И неужели вы думаете, что остальное человечество — если, при благоприятном раскладе, ему удастся избежать диктатуры помешанного, способного за несколько лет уничтожить плоды многовекового труда, — смирится с подобной диктатурой? Ведь человек, который только что вселил панический ужас в население всей земли, — помешанный. Помешательство заменило у него веру.

Современный человек одержим страхом; страх пришел на смену религии. Все эти люди, утверждающие, что они реалисты, практики, материалисты, бешено рвутся завладеть бла-

гами мира сего. Нам совершенно неведома природа терзающего их недуга, ведь мы можем наблюдать исключительно эту их лихорадочную деятельность и даже не думаем о том, что она представляет собой сниженную, вульгарную форму их метафизического страха. Кажется, будто они бегут за своей фортуной, но на самом-то деле вовсе не за фортуной они бегут — бегут от самих себя. В подобной ситуации просто смешно — и с каждым днем становится все смешнее — слышать грозные речи несчастных, невежественных и праздных священников, которые со своих кафедр изрыгают проклятия в адрес этих одержимых гордыней вечных беглецов — недужных, чья жажда наслаждений утоляется лишь ценой колоссальных усилий; которые стремятся полакомиться всем подряд, потому что по существу ничего по-настоящему не жаждут.

Человек эпохи машин — существо аномальное. Те, кто заводит речь о нарушении баланса между духовными потребностями и умножением механизмов, рассуждают так, будто можно искоренить порождаемое этим дисбалансом зло, если заставить человека соблюдать более продуманное, более разумное расписание, выдержанное в соответствии с правилами педагогики:

делать перемены короче, а уроки длиннее. Но увы! Эта логика школьных надзирателей здесь неприемлема. Современный человек — не какой-нибудь нерадивый ученик, который забавляется с машинами, вместо того чтобы учить уроки или молиться. Машины развлекают его — слово «развлекать» мы здесь используем не в его общепринятом значении, но в точном, этимологическом: distrahere. От машин этих он требует радикальной отмены прежнего, традиционного ритма человеческого труда; требует, чтобы ритм этот был ускорен до такой степени, когда устрашающие образы уже не смогут формироваться в их мозгу — подобно тому, как кристаллики льда не могут формироваться в воде, где имеются подводные камни. Кстати, мы ведем здесь речь исключительно о машинах утилитарного назначения. То есть о тех, которые всегда пользовались у человека машинной эры особенной любовью, ради которых он неустанно тратит все ресурсы своего изобретательного ума; о тех, чье совершенствование поглощает 80 % промышленных усилий человечества. Именно они в точности соответствуют и, так сказать, точно подогнаны под природные защитные рефлексы одержимого страхом существа: пьянящее ощущение

движения, несущий утешение свет, дарующие успокоение голоса.

Я снова обращаюсь к молодежи. Вам говорят, что народы вновь обретут процветание, если снова примутся строить машины. В вашем воображении вновь возникает идиотская мечта ваших отцов, которые в 1900 году грезили о всеобщем мире на основе мирного соревнования торговли и промышленности. Эх, молодежь, молодежь! Не будьте вы такими наивными! Народ ваш, как и большинство других народов, будет созидать машины лишь до того момента, пока не достигнет зрелости гигантский экономический монстр, мощь которого возрастает и упорядочивается с каждым днем как на западе, так и на востоке лежащей в руинах Европы. В тот день, когда он достигнет зрелости — поверьте мне на слово, — ваша мечта о новом мире, который обновился бы по образцу только что рухнувшего, потеряет всякий смысл. В деле производства машин никакой потребности в нас уже не будет, да нам и откажут в праве участвовать в этом процессе. У нас останется одно право — приобретать, приобретать у тех, кто добился монополии на производство и подчинил себе рынки. Вся мировая техническая мощь предназначена пе-

рейти таким манером в руки наиболее могучей и технологически оснащенной экономической организации. И вы навсегда останетесь в плену тоталитарно-концлагерной цивилизации.

Нужно срочно спасать человека, ведь завтра он уже перестанет им быть — ибо не пожелает больше спасения. Ведь свихнувшаяся цивилизация плодит помешанных. Мои молодые слушатели! Вам кажется, что вы сохраняете свободу по отношению к ней. Но это не так. Как и я, вы живете в воздухе этой цивилизации и дышите им, она проникает в вас через все поры. Вам говорят: «Свобода бессмертна». Но она может умереть в людских сердцах. Вспомните, как многие тысячи похожих на вас ребят внезапно потеряли всякий вкус к свободе — как теряют сон или аппетит. Разница в том, что потерявший сон или аппетит хотел бы вновь обрести то или другое. Те, прежние, не утратили своей свободы — они, напротив, даровали, вернули ее людям. Они гордились тем, что даровали ее, и даже — необыкновенное, поразительное терминологическое противоречие — гордились тем, что от нее освободились… Освободились от свободы! Нет, молодые люди, те ребята не были дикарями. То были сыны древней, славной, христианской немецкой нации; то

были ваши соседи, которые при другом повороте событий могли бы оказаться вашими приятелями; то были законные наследники одной из наиболее высокоразвитых культур в истории человечества. И все же они стали обожествлять всем известного человека; шли за него на смерть, чтобы засвидетельствовать: свою свободу они передали в его руки. Их смерть — не аргумент в пользу свободы, а аргумент против нее. Знаю, Германия, возможно, больше других народов была предрасположена к подобным заблуждениям. Как вам известно, Пеги характеризовал немецкий опыт как «неудавшееся христианство». Но никто не убедит меня, что зло пришло исключительно из Германии, было ее собственным достоянием; нет, оно не менее глубоко затронуло и другие народы — и по сей день несет угрозу миру. Германию разложила цивилизация, которую я обличаю; никто из нас не может быть уверен в том, что не окажется в свою очередь жертвой этого разложения.

Дело не только в том, чтобы слать проклятия в адрес всех заблудших, чьи трупы теперь переполняют братские могилы, оставшиеся после этой — столь желанной для них — войны. Дело в том, чтобы выпестовать людей, способных отдать служению свободе все то, что эти несчастные обратили против нее; отдать всю силу рук своих, весь пыл сердец своих, неумолимую ясность мышления и несгибаемую волю. Дело в том, чтобы завтра, да что там — уже сегодня приступить к революции свободы, которая одновременно (и по сути своей) окажется взрывом духовной энергии во всем мире — подобно тому взрыву, который имел место две тысячи лет назад. И дай бог, чтобы призыв к этой революции раздался именно из моей страны, ныне оказавшейся в столь униженном состоянии! И дай-то бог, чтобы моя страна обратилась с этим посланием к напряженно ожидающему его миру — посланием, которое разнесет повсюду весть о воскресении Духа!

Перевод К. А. Чекалова

Европейский дух и мир машин

Нужно создавать мир для свободных людей.

Женевские международные встречи, 12 сентября 1946 года

В сущности, у меня нет сколько-нибудь обоснованного права рассуждать вместе с вами о духе Европы — до сих пор эта серьезная тема оставалась прерогативой немногих теоретиков и государственных деятелей. Я не государственный деятель — думаю, это ясно с первого взгляда. Я и не теоретик, не преподаю никаких доктрин и никоим образом не принадлежу к числу тех авторитетных экспертов, что превращают агонию этого мира в мрачный фарс. Мольеровские лекари у одра агонизирующего мира — эту картину вы наблюдаете каждый день и так к ней привыкли, что, быть может, завтра сочтете вполне естественным, если и вам придется умирать в окружении этих паяцев, подобно старому господину с больным сердцем, которого смерть настигла в карнавальную ночь в каком-то злачном месте. И пока носилки спускают по лест-

ницам из салона, во всех зеркалах отражается его последняя гримаса… О, наверное, как-то неловко с самого начала предлагать вашему вниманию столь неприятный образ, но не мне хвалиться умением обходить острые углы.

Да, не мастер я на словесные уловки, к тому же хочу, чтобы вы сразу приготовились к обороне, а я теперь же начну вести счет, сколько лиц, поначалу открытых, по мере моих рассуждений станут постепенно закрываться, медленно, беззвучно, как дверца сейфа, сколько взглядов, в какой-то момент отведенных в сторону, ускользающих верх или вниз, наконец снова устремятся на меня, но уже с непобедимым равнодушием.

Неважно, пусть! Нам не нужно производить друг на друга впечатление, что-то строить из себя. Нам нужно твердо усвоить: над всеми нами нависла угроза — угроза не просто смерти, но дурацкой смерти. Конечно, есть основания воспринимать трагически надвигающуюся катастрофу, тень которой уже легла на живых, поскольку она увенчает нашу гибель. Но ни один свободный ум, ни один из тех, кто действительно воспитан в свободном подчинении духу, не согласится настолько унизиться перед ней, чтобы воспринимать ее всерьез. Она станет концом, но

не заключением и даже не развязкой истории. Последняя точка — это всегда лишь последняя точка: точка — и все, даже если эта точка — взорванная на Бикини бомба. Последний день этого мира, если ему суждено настать, будет достоин именоваться «днем одураченных» с куда большим основанием, чем 11 ноября 1630 года[20].

Вот и вся правда — не думаю, что она вам понравится. Что поделаешь! Мы живем среди обмана, мы одурачены. Это главная примета, общая для всех нас, и мы должны это признать, прежде чем пытаться ответить на какой-либо вопрос, в частности, на вопрос, здесь поставленный. Слишком давно разыгрывает сам перед собой комедию этот мир, который Пеги с душераздирающей наивностью назвал новым, не найдя другого определения (да, по правде говоря, он, возможно, еще не заслужил никакого определения): он периодически берется за решение проблем, которые все менее способен ставить, вероятно, из-за недостатка смелости, но прежде всего из-за недостатка времени. Ибо время — это то, чего ему больше всего не хватает, словно он

[20] Примечания: 20

«Днем одураченных» называют во французской истории день, когда считавшийся опальным кардинал Ришелье вновь обрел милость короля Людовика XIII.

дьявольски сузил границы времени — настолько же, насколько сблизил, с помощью нелепых летающих механизмов, границы пространства. О, нас одолевает ложь, но нет худшей лжи, чем ложно поставленная проблема. Нас одолевает ложь, но мы давно уже потеряли способность определить в каждой лжи ту часть, что принадлежит нам самим, ведь мы поневоле вынуждены пускать ее в оборот, мы по двадцать раз на дню расплачиваемся — была не была — этими необеспеченными чеками.

Мы одурачены, но, перефразируя жестокий ответ Колло д'Эрбуа на просьбу пощадить юную семнадцатилетнюю маркизу де Леви: «Среди аристократов нет невиновных», я утверждаю: среди одураченных нет невиновных, не найдется ни одного обманутого, который не нес бы никакой ответственности за обман, так как почти всегда он одновременно и жертва, и соучастник. Есть некий принцип обмана, объединяющий обманщика и обманутого. Короче говоря, кто поддается на обман, тот несет в себе задатки потенциального обманщика. Да, как правило, одураченный паразитирует на том, кто его надувает, вот что полезно знать. Но нам придется пойти еще дальше и замкнуть круг.

Люди обманывают друг друга, но они не могут долго обманывать других, не обманывая самих себя; без сомнения, этот самообман в конечном счете является тайным двигателем их лжи. Так с каждым днем уменьшается число людей, сохраняющих чистоту души, то есть способных распознать в себе нечестность или — увы — хотя бы пытающихся ее обнаружить, пусть даже страшась этого. Никогда не говорили так много о честности, и никогда не была она таким редким качеством, а со временем и вовсе станет для нашей заскорузлой совести чем-то вроде невозможного упражнения в гибкости. Такое окаменение, ожесточение, склероз совести, иссушение глубинных источников души — явление повсеместное, но вот уже тринадцать долгих месяцев я наблюдаю его в родной стране, среди своих, с тревогой глубоко личной, почти религиозной, со священным ужасом. Бог уходит, Бог покидает нас, какими пустыми и одновременно тяжелыми Он нас оставляет!.. Та внутренняя свобода, что была нашей наследственной привилегией, в которой враги наши, не без основания, усматривали какую-то неисправимую легковесность (а она действительно придавала нам легкость, свободу и легкость даже в заблуждении,

в грехе, в беззаконии, ибо мы были легче, чем они, мы парили над их основательностью), та внутренняя свобода — то был Он сам: мы потеряли ее, а вместе с ней потеряли Бога, но вернуть ее не помогут ни желание снова ею обладать, ни стенания о своей потере, ни попытки обрести своего рода алиби в фарисействе социальной справедливости — Бога не проведешь.

Прежде чем дерзать говорить о социальной справедливости, начните заново создавать общество, глупцы! Вы похоронили под бомбами цивилизацию, основу которой уже успели разрушить в сознании людей, а социальная справедливость для вас лишь предлог уничтожить то, что еще осталось от этого мира, и все разграбить, не брезгуя грудами трупов.

Не думайте, что, говоря вот так, я отклоняюсь от темы нашей встречи. Конечно, мало шансов, что мы доведем нашу работу до конца, но надо выяснить, есть ли у нее вообще конец, а если их несколько, что, увы, вероятно, нам следует подступиться к ней с нужного конца. Сказав сейчас, что самая худшая, самая грязная ложь — это неправильная постановка проблемы, я думал именно о той проблеме, которую мы собираемся совместно исследовать, потому что

это типичный образец неверно поставленной проблемы. Когда-то давно существовала Европа, то есть европейская цивилизация, и в те времена не говорили или старались говорить поменьше о европейском духе, это было ни к чему, это могло принести несчастье Европе. В те времена великие демократии еще не придумали национализм, и если у народов уже было не слишком много причин для взаимной любви, им была пока еще известна лишь малая часть причин друг друга ненавидеть. Повсеместное наступление демократического национализма нанесло европейской цивилизации роковой удар — эти чудовища ее раздавили, не в силах выдержать такое бремя, она начала тонуть. Пусть дураки говорят, что она была недостаточно крепкой. Если бы я имел желание им отвечать, то ответил бы, что цивилизация всегда была именно искусным распределением нагрузок, которые необходимо нести, или задач, требующих решения. Человеческая цивилизация не могла бы выдержать что угодно, устоять под любым давлением. Цивилизация — не только творение человека, она и есть сам человек. Даже под предлогом справедливости нельзя требовать от нее больше, чем разумно требовать от человека. Но техников такие пустяки не смущают. Они

перегружают человеческую цивилизацию, как инженеры перегружают несущую арку моста, подвергая испытанию точку слома. Когда точка слома будет найдена, техники, вероятно, сочтут, что они добросовестно выполнили условия контракта, и предъявят нам смету.

Европейская цивилизация, по примеру всех ее предшественниц в истории, была компромиссом между добрым и дурным в человеке, системой защиты от инстинктов. Нет человеческого инстинкта, который не мог бы обернуться против самого человека и уничтожить его. Инстинкт справедливости, возможно, самый разрушительный из всех. Когда, к примеру, идея справедливости, покинув разум, переходит на уровень инстинкта, она обретает огромную разрушительную силу. Впрочем, тут перед нами уже не справедливость (ведь точно так же сексуальный инстинкт — это не любовь) и даже не жажда справедливости, а звериная похоть и одна из самых действенных форм ненависти человека к человеку. Инстинкт справедливости, располагая всеми ресурсами техники, готовится опустошить Землю.

Загнивающие цивилизации порождают мифы. В первую очередь нужно разрушить эти мифы,

уничтожить монстров. Смешно намереваться что бы то ни было строить или реконструировать в мире, где мифы разгуливают на свободе и земля содрогается под их ножищами. Если вы и вправду верите в возможность построить цивилизацию под стать этим чудищам, тогда мне непонятно, что мы здесь делаем. Если предположить, что совершенно новый тип цивилизации — массовая цивилизация — рождается сейчас из нравственной и интеллектуальной анархии общества, едва ли не полностью утратившего духовность, то зачем мы дискутируем о европейском духе? Дух старой европейской цивилизации обречен безвозвратно. А что касается духа новой цивилизации, о нем пока и речи нет. Пока что речь идет только о технике. Мы отнюдь не техники. Техники в нас не нуждаются. Вопрос в том, чтобы выяснить, имеет ли история смысл или смысл придает ей техника. Или, выражаясь еще яснее, нужно решить: история — это история человека или это только история техники? Но мы вернемся к этому чуть позже.

Эти два слова: «европейский дух» — не смею утаить от вас — всегда вызывают у меня в памяти эпоху не столь отдаленную, о которой обычно я предпочитаю не думать. Ведь между 1920-м и

1930 годом — возможно, вы помните — ряд интеллектуалов также пытались определить этот дух, но, не найдя ему определение, они великодушно наградили себя завидным в то время званием европейцев. Тогда быть европейцем ничего не стоило! Достаточно было искренне заявить, что вам чужды национальные предрассудки. Увы! Никто так не опасен, как раб своих национальных предрассудков, разве что человек, который в силу своего рода поверхностной открытости впал в иллюзию, будто он действительно от них отрешился! Открытость не стоит путать со свободой, а поверхностность — с естественностью, так же как легковерие нельзя путать с верой. Они пытались прийти к взаимопониманию, как будто для взаимопонимания достаточно обмениваться между собой мыслями: так люди показывают друг другу семейные фотографии дождливым летним днем в холле маленькой гостиницы у моря, явно удрученного скукой, хотя его пока не обобществили вместе со всем прочим. Они принимали за чистосердечность некое любопытство, сродни умственному зуду: недалекие интеллигенты со смешной самоуверенностью похваляются этим зудом и заботливо поддерживают его в себе с целью, я полагаю, получить удовольствие от

взаимного почесывания. На розовых страницах «Ларусса» вы найдете эту мысль, выраженную по-латыни[21]…

Человек, действительно наделенный интеллектом, большая редкость, а огромное, бесконечно растущее число интеллигентов, пожалуй, убеждает нас в том, что две эти категории необходимо различать. Ну да ладно! Те представители интеллигенции, о которых я говорю, потерпели крах. По крайней мере, как ни парадоксально, они ни в чем не пришли к единству, кроме (если можно так выразиться) своих различий, и эти различия оказались непреодолимы именно потому, что они не затрагивали сути вещей, это было просто несходство. Кстати, оно не имело отношения к исторической трагедии Европы, которая не разделилась в общепринятом смысле слова, но распалась, как разлагается на составные части органическое соединение, — Европы не разделившейся, а разложившейся.

Драма Европы — это духовная драма, драма Европы есть драма духа. Бывают духовные драмы разного рода. Самая значительная и решающая — несомненно, та, что происходит рано или

[21] Примечания: 21

Вероятно, автор имеет в виду латинскую поговорку «asinus asinum fricat» (осел об осла трется).

поздно, но только единожды с каждым человеком, когда отнимается от него дыхание духа. Переживает ли еще Европа эту драму или уже пережила ее? Трудно сказать, поскольку здесь нельзя доверяться видимым материальным признакам. Разумеется, труп — это по существу предмет неодушевленный, лишенный души. Но не безжизненный. Напротив, он трепещет, вибрирует, кишит множеством новых соединений, абсурдное разнообразие которых отражают радужные переливы красок гниения. Однако все эти отдельные истории не составляют единую историю. Разлагающийся труп похож (если только труп может быть на что-то похож) на мир, где экономика решительно возобладала над политикой, мир, ставший всего лишь системой непримиримых антагонистических интересов, то и дело теряющей равновесие, точка которого опускается все ниже. Труп куда нестабильнее, чем живое существо, и, будь у него дар речи, он, конечно, похвалялся бы своей внутренней революцией, ускоренной эволюцией, которую сопровождают впечатляющие явления, бесконечные выделения и бульканья и общее растворение тканей в полнейшем равенстве. Он пристыдил бы живого за относительную устойчивость, обозвал бы его

консерватором и даже реакционером, поскольку для трупа, надо отдать ему справедливость, никакая реакция по сути невозможна… Да, много, очень много всего происходит как внутри, так и на поверхности трупа, и если бы спросить мнение червей, будь у них способность отвечать, они сказали бы, что участвуют в необыкновенном, самом смелом, всеобъемлющем приключении, в необратимом эксперименте. И тем не менее факт остается фактом: у трупа нет истории, или, если хотите, это история, которая удивительно согласуется с материалистической диалектикой истории. Здесь нет места для свободы ни под каким видом, здесь царит абсолютный детерминизм. Ошибка червя в том, что, пока труп его кормит, он принимает уничтожение за историю.

Цивилизации смертны, они умирают, как и люди, и все же они умирают по-другому. У них, в отличие от нас, разложение наступает не после смерти, а предшествует ей. Поэтому, говоря, что Европа не просто разделена, но разлагается, я все еще не отчаиваюсь в ее спасении. Я пытаюсь тем самым как можно яснее, как можно убедительнее подчеркнуть основное отличие, истину, на первый взгляд простейшую, совсем незначительную, которая, однако, представляет собой истину

жизни или смерти. Если бы Европу разделяло лишь некоторое количество недоразумений, достаточно было бы прояснить эти недоразумения. Казалось бы, стоит, согласно академической формуле, тщательно разграничить общие и частные интересы — и, едва они будут разграничены, сразу же многие миллионы средних людей, положа руку на сердце в знак веры, другой рукой хлопнут себя по лбу, с веселым удивлением вспоминая былой страх, и хором воскликнут: «Боже, куда мы шли! Давно бы так!» О, без сомнения, они только и хотят разграничить общие и частные интересы, они нам весьма признательны за облегчение для них этой задачи, но, поверьте, они вовсе не намерены жертвовать частными интересами ради общих, не будьте так наивны! Они хотят хорошенько, досконально знать, в чем заключаются их частные интересы, но это нужно им, дабы удостовериться, что они не теряют время зря, служа по ошибке общим интересам, и без промаха, без промедления изо всех сил ухватиться за частные интересы, милые сердцу частные интересы, вцепиться в них когтями и зубами, как утопающий — в обломок корабля, как хищник — в живую добычу.

История издавна насчитывает некоторое чис-

ло великих европейцев, выдающихся людей, прославившихся тем, что они думали о Европе, мыслили, рассуждали, действовали, так сказать, в европейском масштабе. Но эти люди всегда составляли меньшинство, ничтожное меньшинство. Они думали о Европе, потому что тогда существовала Европа, я хочу сказать: Европа как отчетливое понятие. Современная Европа — нечто невразумительное. Если бы еще жили люди, о которых я говорил, они оказались бы сегодня ненужными, и нелепо хныкать на их могилах — мы только понапрасну потревожим их сон. Если бы они чудом воскресли, они оказались бы так же бессильны перед современной Европой, как виртуоз перед развороченным бомбой роялем, роялем без струн, в отчаянии берущий аккорды на немой клавиатуре. Великих европейцев создала Европа, но Европу создали не великие европейцы. Так критики прибавляют славы великой литературной эпохе, но великие литературные эпохи создавались не критиками. Кстати, о государственных деятелях можно сказать то же, что о критиках: не они делают государство. Вот вам пример (ибо, возможно, вы пришли сюда не для того, чтобы все услышать, но я-то здесь именно для того, чтобы высказать

все): мы вынуждены признать, что у генерала де Голля высокое, очень высокое, традиционное представление о государстве. Но его высокое представление о государстве, к несчастью, никак не может повлиять на глубокую, возможно, непоправимую деградацию современного государства. Чтобы отчасти вернуть престиж современному государству, обесчещенному в наши дни жульничеством, шантажом, контрабандой и ростовщичеством — будничными грязными делишками, недостаточно говорить от его имени (впрочем, скорее по школьной традиции, чем по истинному убеждению) языком Людовика XIV, как будто причина такой дискредитации государства только в том, что граждане разучились его уважать, — тогда как граждане перестали уважать государство по той причине, что оно утратило право на уважение и напоминает скорее Скапена, чем Людовика XIV, импровизируя бесконечные фокусы с расчетом наполнить вечно пустую котомку. Тут генерал де Голль бессилен. Современное государство — узурпатор и лжец, а вернее, это предприятие, занятое эксплуатацией и полицейским контролем, непомерно разросшееся вследствие вырождения всех прежде независимых общественных организаций. Меж-

ду современным и традиционным государством нет преемственности, как нет ее между раком и тем органом, который он постепенно подменяет своими чудовищно разрастающимися клетками. Современное государство обезобразило Европу, если можно так выразиться; навалившись на нее всей тяжестью, всем этим мертвым грузом, оно душило и отравляло ее своими ядами. Тоталитарное государство было тоталитарным с самого своего рождения, точно так же рак, едва проклюнется его первая почка, это уже рак. Если бы сегодня Людовик XIV захотел повторить свою знаменитую формулу, ему пришлось бы немного изменить слова: «Рак — это я!»

Не будем, однако же, обманываться. Тоталитарное государство — не столько причина, сколько симптом. Не оно уничтожает свободу, но оно организуется на развалинах свободы, и, если можно добавить еще один образ, я представляю его в виде гигантского гриба: он безгранично наращивает мощь и размеры, впитывая все гнилостные соки разложения свобод. Их разложение — не новость, хотя в последние годы этот процесс сильно ускорился. Напрасно мы делаем вид, будто верим, что тотальные войны похожи на все остальные, с той разницей, что в них гибнет больше людей

вследствие совершенствования технических средств поражения. Как бы мы ни старались прославить самоотверженность павших в этих гигантских катаклизмах, все прекрасно знают, хотя не всегда осмеливаются сказать вслух, что современные войны — это не просто военные действия, это кризисы, с каждым разом все более жестокие, истинной природы которых мы еще точно не знаем, — их невозможно ни предотвратить, ни взять под контроль, их даже невозможно закончить, что с очевидностью доказывает провал так называемых мирных переговоров. Увы! Это все равно что вести переговоры об окончании эпидемии чумы! Ибо эти войны и в самом деле больше похожи на эпидемии, чем на войны; эпидемии, от которых гибнут лучшие, как если бы человечество стремилось посредством какого-то антиотбора постепенно сформировать достаточно грубый, примитивный человеческий тип, чтобы любой ценой выжить после всемирного краха прав личности и всех свобод.

Вот что такое трагедия Европы. Дело не в том, что европейский дух в последние полвека с небольшим слабеет или меркнет; дело в том, что деградирует европейский человек, вырождается европейское человечество. Вырождается и

грубеет. Оно может стать достаточно толстокожим, чтобы выжить в любом эксперименте по испытанию технологий порабощения, то есть не просто выдержать их применение, но и без ущерба к ним приспособиться. Ибо распад, о котором я сейчас говорил, очевидно, будет иметь конец. Теперь у нас на глазах разлагаются самые ценные и, стало быть, самые хрупкие элементы цивилизации. К несчастью, можно представить себе цивилизацию, лишенную этих элементов в процессе регрессивной эволюции и наконец достигшую стабильности в низшей ее точке. Эта стабилизация в низшей точке раньше была бы невозможна по той причине, что масса обычных людей отказалась бы жить в такой цивилизации, забившись, как зверь в капкане. Вероятно, не сумев улучшить положение, они бы ввергли эту цивилизацию в хаос. Сегодня стоит вопрос о том, способна ли современная техника воздействовать на общественное мнение достаточно мощно и длительно, чтобы со временем уничтожить один за другим нравственные рефлексы, из-за которых в прошлом для среднего человека было бы невыносимо общество, дошедшее до предела бездуховности.

Знаю, что предлагаемое мной объяснение мно-

гих из вас должно шокировать: мягко говоря, оно и вправду не слишком обнадеживает. Принято говорить, что новое капиталистическое общество сменило прежнее, но на самом деле это совсем не так. Капиталистическое общество еще не дало себе труда реально организоваться, оно развивалось, паразитируя на старом обществе, ценой огромных катастроф, так как единственно возможная для капитализма организация — тоталитарная, и для того, чтобы она стала осуществимой или только мыслимой, нужно было ждать появления тоталитарного человека. Итак, не изобретение машин создало машинную цивилизацию: просто оно захватило человечество врасплох и так резко перевернуло экономическую структуру, что тем самым сразу же непоправимо исказилась социально-политическая организация общества. Люди сделали вид, будто верят, что это мимолетный кризис, что наступит день, когда покачнувшееся традиционное общество вновь обретет равновесие. Этот день так и не настал. Впрочем, ждать его не стоило. Цивилизация, одолеваемая паразитом, не могла залечить свои раны, напротив, они все углублялись под невероятным натиском внезапно разбушевавшихся желаний, из-за которых

трещала по швам вся ее нравственно-религиозная основа. Нет, не изобретение машин нанесло роковой удар старому миру, но обрушившийся на него гигантский шквал, вздымающий, одну за другой, все более высокие и могучие волны, которые смели все авторитеты и привилегии, кроме власти денег, посеяв в христианском обществе дух паники, в силу иллюзии прогресса принимаемый за трепет воодушевления.

Обличать деньги как причину всех зол — тоже обман. Вот уже полтора столетия деньги воспринимают как знак и символ крушения духовных ценностей и скрытого отчаяния людей, вдруг проявившегося в войнах без начала и конца. XIX век сумел создать иллюзию процветания, которое похоже на счастье, как грохот грузовика, наполненного железными балками, похож на музыку. То был век отчаяния, но не осознанного, а медленно затоплявшего человеческую душу. Романтизм выражал это отчаяние на полурелигиозном языке, реализм странным образом его превозносил, не распознав, не называя, а символизм бежал от него, совершая сальто в театральные небеса и уверяя нас, будто это и есть небо. Леон Доде — человек XIX века до мозга костей, еще в детстве перенявший от горячо любимого отца

образ чувств, склад мыслей, присущие той странной среде, литературному полусвету, настолько яркому и блистательному, что нам он кажется сейчас настоящим светом по сравнению с нашей суровой интеллектуальной бюрократией. Леон Доде назвал свой век глупым. И вправду, только таким он мог быть в глазах человека, который чуял в нем этот могильный запах и для которого оптимизм был почти физической необходимостью, витальным защитным рефлексом от реальных или воображаемых расстройств из-за болезненной, вызывающей безумный страх наследственности. Глупость сродни оцепенению. XIX век вынашивал свое отчаяние в непостижимом оцепенении, свойственном эпилептику в преддверии приступа. Человек XIX века, уже отсеченный от своих духовных корней, продолжал жить их соками, исчерпывая этот запас до конца, как сорванный с ветки плод, как срезанный цветок в вазе. Эти фанатичные поклонники прогресса сохраняли для своего идола лишь такую веру, еще способную наполнять храмы и зажигать костры, но уже бессильную питать сердца. Могло ли быть иначе? Могли человек эпохи 1900-х, современник последней Всемирной выставки, не предчувствовать — пусть смутно,

в глубине души — невероятных событий, тень которых уже нависала над ним, — ведь ко времени открытия этой ярмарки Сталин и Гитлер уже успели родиться? Но факт их рождения не имел значения. Подлинная драма, единственная трагедия — зарождение в то же самое время нового человеческого типа.

О, я знаю, что такие истины опаздывают. Слишком поздно предупреждать вас о появлении определенной разновидности людей — она уже существует, теперь вам придется испытать ее силу, и, говоря откровенно, я считаю маловероятным, что вы легко с ней справитесь, поскольку, если ограничиться самым поразительным примером, она одолела даже Гитлера.

Нет, речь не вдет о приведении в порядок мира и Европы подобно тому, как эксперт-бухгалтер приводит в порядок счета: здесь ошибка не в вычислениях, здесь сами числа несочетаемы, они сошли с ума. Если мир не достигается переговорами, виноваты не переговорщики: дело в том, что мир, который нащупывают вслепую, вовсе не соответствует сложившемуся представлению о мире, и единственно возможный мир будет соответствовать образу или, по крайней мере, духу деградировавшего человечества, этот

мир узаконит и увековечит его существование. Тоталитарная война может разрешиться лишь тоталитарным миром, а тоталитарный мир откроет историю тоталитарного человечества, он будет означать крах европейской цивилизации и гибель европейского человека.

Если вы еще верите в Европу, надо спасать европейского человека. Время не терпит. Его осталось в обрез. Без сомнения, европейская цивилизация хранится в библиотеках, но, как писал Поль Валери за несколько дней до смерти, библиотеки — это кладбища. Европейская цивилизация — это европейский человек. Прежде всего надо спасать его, европейца. На первый взгляд такие речи ближе к поэзии, чем к науке, но это неважно! Ученые, собравшиеся в доме, которому грозит пожар, легко могут не заметить опасности. Если сторож первым почувствует запах горелого, именно этому скромному сотруднику ученые будут обязаны тем, что успеют выпрыгнуть в окно. Нужно спасать европейского человека. Мне ответят, быть может, что он должен суметь спастись самостоятельно, собственными средствами, а если он на это не способен, ему остается оказать роду человеческому последнюю услугу — исчезнуть, подчинившись беспощадным законам естествен-

ного отбора. Но законы естественного отбора для человека не такие, как для животных или растений. Ценность человеческого типа не измеряется его способностью пожирать себе подобных или мешать их развитию. Если есть опасность, что новый человек вытеснит европейца, причина не в том, что, придя с другого континента, он нов по сравнению с нами или что он проще нас. Не знаю, известен ли миру человек-зверь, который был бы действительно прост, ведь питекантроп с острова Ява — только мистификация, и о существовании промежуточных типов между обезьяной и человеком мы на самом деле мало что знаем. Вот уже несколько тысячелетий — возможно, так было всегда — варвар представляет собой результат деградации цивилизованного человека. Несмотря на то, что палачи Дахау и Бухенвальда сохранили очень мало высших психических рефлексов нормального человека, они не сделались проще, наоборот. Все то, чего они, казалось, совсем лишены, было только подавлено, повреждено, искажено, извращено. Похоже, сила такой человеческой разновидности не в простоте, а в глубоко коренящейся жестокости, но жестокость — наименее простое из всех человеческих извращений. Кровожадный человек

только на первый взгляд похож на хищного зверя. Поведение хищника, пожирающего живую добычу, по сути ничем не отличается от поведения любителя бургундского, наливающего себе в бокал романе-конти, или нормандца, который кладет ломтик камамбера на хлеб. Но человек, который с таким же наслаждением мучает или убивает, далек от невинного животного, то есть от природы, он насилует свою собственную, человеческую, природу и превращается в чудовище.

Чудовища способны многое разрушить, но они в самих себе носят это гибельное начало. Должно быть, тоталитарный человек ненадолго переживет цивилизацию, которую разрушит, и, следовательно, он разрушит ее понапрасну, вот что нужно понять. Дураки обычно думают, что, в конце концов, крепкие парни, свободные от всякой метафизической тревоги и каких-либо нравственных терзаний, но зато спортивные, работящие и дисциплинированные, могут быть, куда ни шло, превосходной рабочей силой. Когда планета будет полностью оборудована по последнему слову техники этими искусными животными, будет время их обратить и окрестить, то бишь вернуть им все, чего у них недостает, думают дураки особого разряда из определенных

католических кругов. Глубокое заблуждение! Тоталитарный человек — прекрасный инструмент для работы или для войны, с огромной отдачей, но долго он не прослужит. Существование тоталитарного человека, этого шедевра бездушной техники, навсегда останется в человеческой истории некой случайностью, и эта случайность может также оказаться последней в истории. Прежде чем будет достигнут воображаемый рай — рай универсального комфорта для усовершенствованных животных, тоталитарный человек, скитаясь по духовной пустыне, умрет от жажды, которую ему нечем будет утолить, разве что кровью себе подобных. И будут пить кровь, лакать ее, точно суки, ибо исчерпали они источники воды живой. И будут умирать от жажды, жуя последние сгустки черной крови и припадая ухом к земле: услышать бы перед смертью шум подземных вод.

* * *

С тех пор как я вернулся из Америки, меня нередко упрекают в том, что я правильно рассуждаю, но не прихожу к заключению. О каком заключении идет речь? О том, чтобы принять некую систему? Вступить в какую-либо партию?

Но системы и партии нужны сегодня лишь затем, чтобы успокаивать дураков. Мое призвание на земле заключается не в том, чтобы успокаивать дураков, — впрочем, дураки в конце концов всегда успокаивают себя сами, они тяготеют к безопасности, как чугунный блок к неподвижности. Ведь и здесь все тот же обман! Этот мир считает, будто он движется, так как он представляет себе движение чисто материально. Мир в движении — это мир, взбирающийся по склону, а не катящийся вниз с горы. Как быстро ни катись, это лишь ускоряет падение, вот и все. Между теми, кто считает цивилизацию победой человека в сражении с детерминизмом вещей (и прежде всего с тем аспектом всеобщего детерминизма, который крепко держит его самого, как смола — увязший в ней кончик птичьего крыла), и теми, кто хочет превратить человека в вещь наряду с другими вещами, примирение невозможно ни в какой системе. Но все системы и партии существуют только для того, чтобы люди поверили в осуществимость такого примирения. В настоящее время я не знаю системы или партии, которой можно было бы доверить правильную мысль, хоть слабо надеясь, что назавтра ее не исказят до неузнаваемости. У меня правильных

идей немного, я ими дорожу и не отдам их в общественный приют (чуть не сказал: в публичный дом, ведь проституирование идей во всем мире превратилось в государственный институт). Стоит отпустить гулять без присмотра любую идею, как Красную Шапочку, с косичкой за спиной и корзиночкой в руке, — и на первом же углу ее изнасилует какой-нибудь одетый в форму лозунг. Потому что все лозунги ходят в форме, все они служат в полиции.

Европа разлагается, и все системы, которые нам расхваливают, это системы распада, если даже за ними якобы стоит стремление отыскать формулу примирения. Что ж, разложение тоже в каком-то смысле примиряет. Примирение в коррупции — неплохая идея, но системы не могут ее осуществить. А вот черный рынок сразу же достиг в этом успеха, именно потому, что он не система. Черный рынок родился не в техническом бюро. Он организовался сам по себе, это плод коллективного творчества. Конституции черного рынка нет, как нет английской конституции, что не мешает Англии и черному рынку успешно функционировать. Черный рынок имеет огромное преимущество перед системами: он существует не на бумаге и, несмотря на любые усилия тех-

ников, его невозможно ни уничтожить, ни даже по-настоящему контролировать. Черный рынок — поистине образ современного мира, этакая народная, лубочная картинка современного мира. Это современный мир в действии, и если завтра нашей планете суждено распасться, это будет последняя — грубоватая, конечно, но на сей раз действительно эффективная форма демократии. Демократии черного рынка не грозит Мюнхен. Против этой демократии все рецепты государственного регулирования оказались бесполезными, и когда черный рынок умрет, он умрет своей смертью, так же как он жил своей собственной жизнью. Вполне можно сравнить — не возмущайтесь, не дослушав! — народ черного рынка с народом эпохи соборов или даже Крестовых походов. Соборы и Крестовые походы — дело коллективное, вдохновленное верой и на время всех сплотившее. Черный рынок, конечно же, вдохновлен не верой, но в нем есть порыв, это прыжок не в высоту, а в пустоту, но все-таки прыжок, с этим не поспоришь. Черный рынок примирил все классы, все они на нем представлены. Есть черный рынок баронов, а также Петра Пустынника и Готье Нищего, есть даже Кресто-

вый поход детей, черный рынок лицеев[22]... Да, на черном рынке представлены все классы, и если крестьянство — в первых рядах, то и рабочий класс, уверяю вас, не в арьергарде. Увы! Позвольте заметить мимоходом: разложение народа, которое обличает в 1913 году Пеги — обличает без негодования, но со стеснением в груди, с глубоким глухим стоном (так стонет смертельно раненный), это разложение сегодня ни у кого не вызывает сомнений. Был в моей стране тип человека из народа, был рабочий предместья, были крестьяне, о которых говорит Пеги, но сегодня их надо создавать из ничего. А вернее, их уже не создашь. Нелепо само желание их вернуть, история никогда ничего не возвращает. Пятнадцатилетний подросток из мелких буржуа с признаками дегенерата, который ловчит в лицее, знает толк во всех махинациях и празднует с семьей свой первый миллион, изобретательностью, хитростью, гнусным оптимизмом похож, как родной брат, на своего товарища из рабочих, который тоже обтяпывает делишки, разве что руки у него

---

[22] Примечания: 22

Петр Пустынник (1050–1115) — французский монах, вдохновитель 1-го Крестового похода, один из вождей народного Крестового похода; Готье Нищий — французский рыцарь, возглавил один из отрядов народного Крестового похода, разгромленный в Малой Азии, погиб в 1096-м или 1097 г.; Крестовый поход детей относится к 1212 г.

погрубее.

С тех пор как я вернулся из Америки, черный рынок представляется мне именно в виде рук. Руки, руки, повсюду руки. Век рук, по словам Рембо, каких только нет… Шершавые и мягкие, черные и белые, розовые бархатные ручки с лакированными коготками и могучие кожаные ручищи, короткопалые, как култышки, длинные и бледные, ладони школьников с чернильными пятнами, руки подмастерьев с обгрызенными ногтями, волосатые и гладкие… Мы только и видим, как снуют эти шустрые пятерни, извлекая из одного кармана и пряча в другой, быстрые, как молния, они то выжидают в темном углу, то потихоньку крадутся под столом, то карабкаются по стене, то, как мухи, липнут к потолку, готовые вовремя спикировать на скатерть и скрыться с добычей. Руки бегут по тротуарам — неровен час, отдавишь их ненароком, и к исходу дня вас преследует воспоминание об этих руках: каждый вечер, ложась спать, вы боитесь, что они вот-вот выпадут из кармана ваших брюк вместе с мелочью и юркнут под кровать.

Да, для меня черный рынок — вот это копошенье рук; этот образ не дает мне покоя, Франция задыхается, облепленная роем рук, жадных, как

саранча или муравьи, человеческих рук, как будто отделившихся от человека — возможно, навсегда, — живущих собственной жизнью, жизнью рук анонимных, отныне чужих для человека, мыслящего человека из учебников философии. Это руки будущей цивилизации рук, цивилизации термитника, построенной руками-термитами. Собор рук, воздвигнутый во славу Большого, Указательного, Среднего, Безымянного и Мизинца — пяти богов.

Кошмар этот тревожит пока еще немногие сердца и даже пищеварение портит немногим. Люди думают, что у цивилизации рук есть преимущество — она наверняка сумеет установить некую справедливость, столь же далекую от истинной справедливости, как минерал от организованного живого существа, как кристалл от человека, — я хочу сказать: эгалитарную справедливость, равенство. Что больше похоже на руку, чем другая рука, если обе делают одну и ту же работу? У всякой руки только пять пальцев. Руки исполняют и не спорят. Они и в самом деле исполняют и даже успешно приводят в исполнение… Палач — это рука без головы. Рука делает свое дело, не краснея и не плача, рука не имеет жалости. Руками не рассуждают. Настоящая тоталитарная

цивилизация, настоящий концентрационный мир — это цивилизация рук.

Возможно, вам кажется, что руки далеко увели нас от черного рынка. Ошибаетесь. Как я только что говорил, черный рынок в самом деле на первый взгляд вроде бы борется с законом. Но эта оппозиция — только кажущаяся, поскольку нет больше закона. Черный рынок не борется и с государством, он конкурирует с государством, по крайней мере, с тем, что так называется, это две враждебных банды или, вернее, как бы два типа рук, похожих между собой, как правая и левая: они без устали хлопочут над разлагающейся цивилизацией, как тройной слой крабов над трупом.

Но почему я произнес слово «цивилизация», слишком, на мой взгляд, абстрактное? Человеческая цивилизация, как уже говорилось, это весь человек — мозг, сердце и утроба, душа и тело. И вот перед нами человек, отданный во власть собственных рук, своих непокорных рук, вдруг умножившихся без счета благодаря технике и механике, человек, этими самыми руками схваченный, ободранный как липка, раздетый догола, человек, которому только и остается ждать, что его потихоньку расчленят, растерзают на куски,

растащат по жилочке, сотрут в порошок. Ведь атомная бомба — не заблуждайтесь! — это тоже рука, только она так натренирована и проворна, что для нее лущить атомы легче, чем лущить горох. Вот тут техника, или сноровка рук, поймана с поличным, как лапа вора в кармане зеваки. Ибо теперь уже на повестке дня не господство над материей, а ее уничтожение. Так же как вино, молоко, мясо, хлеб, все необходимое для жизни исчезает, проходя через посредников, то есть передаваясь из рук в руки, сама материя улетучивается: последний фокус дьявола — проткнуть дыру в куполе цирка. Благодатью нового Таинства, Таинства Бикини — правда, не так, как мечталось, — Человек в самом деле становится Духом… Во имя Большого, Указательного, Среднего, Безымянного и Мизинца, единого божества в пяти лицах, да будет так!

О да, мне понятно, о чем вы думаете, конечно, вы находите все это забавным. Но что правда, то правда: людское горе начисто утратило религиозное достоинство, священный характер. Прежде чем пытаться осчастливить человека, прежде чем нацеливать его на счастье, необходимо позаботиться о том, чтобы он мог не выглядеть смешным в несчастье. Если горе человека не

является чем-то сверхъестественным, не имеет в сверхъестественном своего начала, то сама чрезмерность этого горя придает ему комизм. Если бы история этого мира закончилась сегодня ночью (разумеется, после моей лекции) из-за какой-нибудь лабораторной случайности, это было бы похоже на конец бездарной, никуда не годной пьесы, настолько дрянной, что публика штурмует сцену, лупит актеров, бьет люстры и поджигает театр. И такое сравнение еще слабо выражает глубочайшую нелепость существа событий, масштабы и тяжесть которых так нас подавляют; главные лодыри в школе — и те не без наивной гордости толкуют о событиях планетарного масштаба. Да, это события планетарного масштаба, как любая мировая катастрофа. Может быть, завтра они обретут масштаб всей нашей Солнечной системы, если цепная ядерная реакция случайно превратит Землю вместе с Луной в новое Солнце, способное изменить условия жизни на соседних планетах. Эти события грандиозны, но их истинное значение, их значение с точки зрения Духа не соответствует их массе. Такая диспропорция могла бы, согласно известным законам, даже насмешить, если бы смех не замирал на устах перед чудовищностью карика-

туры. Например, эксперимент Бикини при любых обстоятельствах остался бы превосходным образцом фарса, настоящего фарса. Обернись он совсем скверно, так, что весь род человеческий был бы уничтожен вместе с козами и свиньями американской эскадры, даже это не могло бы ослабить его комический эффект. Очередная история про дурачка-простофилю. То и дело у нас происходят такие дурацкие истории. Разве не писали недавно в одной из самых серьезных газет Европы, что правительство Соединенных Штатов взрывало в разных местах плутониевые бомбы с единственной целью — разработать изощренные методы обнаружения, способные в будущем доставлять ему информацию о ядерных опытах, ведущихся строго секретно во всех лабораториях мира?

Слово «цивилизация» некогда ассоциировалось с безопасностью. Легко представить, какого рода безопасность присуща цивилизации, вынужденной содержать себе в ущерб, ценой огромных расходов и отказа от последних остатков свободы, огромную шпионскую сеть, чтобы по крайней мере за пять минут получить предупреждение о своем полном уничтожении. Человечество явно преследуют образы смерти, образ его собственной гибели, тысячекратно умноженный, как в

фасеточных глазах насекомого. Человечество боится себя самого, своей тени, своих рук на столе, приоткрытого ящика, где поблескивает густо смазанный ствол браунинга. Когда человечество добровольно и словно бы неумолимо понемногу урезает доставшуюся ему в наследство часть свободы, утверждая, что приносит эту жертву ради своего будущего счастья, не верьте ему ни на минуту! Оно жертвует свободой из страха перед самим собой. Оно похоже на одержимого навязчивой идеей самоубийства, который, перед тем, как остаться одному, велит на ночь привязывать себя к кровати, чтобы спастись от соблазна повернуть газовый кран. Но пока человечество терзается и учится все сильнее себя ненавидеть как виновника собственных бед, его инженерный гений множит инструменты и технологии разрушения. Это безумие, характерное для современной истории, очевидно, преследует всех, поскольку — увы! — в каждом из нас живет семя этой мании. Род паники, которую порождает и поддерживает абсурд, напоминает скорее ступор, гипнотическое оцепенение животного. Эту оцепенелую форму страха, гибельную анемию души, похоже, лишь усугубила отрава старой идеологии Прогресса, благодетельного Прогресса,

благого, как сам Господь Бог. Как опутанный долгами торговец в канун банкротства, которому не на что уповать, кроме чудесного выигрыша, люди в массе своей пассивно принимают из рук поставщиков оптимизма надежду, столь же преувеличенную, столь же абсурдную, как их беда. Уже не надо говорить им о прогрессивной эволюции — прогрессивной или регрессивной, какая разница! Они поддаются на уверения в том, что, если сейчас все вдет плохо, все пойдет гораздо лучше через сто или тысячу лет. Тем временем никакие разочарования не помешают лжецам делать свое дело, поскольку, вместо того чтобы сулить людям скорый конец их бед, они, напротив, предрекают «смертельную схватку», после которой рано или поздно поднимется из-под горы трупов, отряхивая кровавую пену, возрожденное марксистское человечество, свежее как огурчик.

Среднему человеку решительно наплевать на возрожденное человечество, в сущности он лишь ищет повод отречься от свобод, не желая рисковать. Я говорю, что тоталитарные обманщики только и стремятся содействовать его отречению, сдаче позиций средним человечеством. Я говорю, что продуманные нелепости пропаганды, задача которой — не убеждать, а отуплять, поддержи-

вают в массах покорный скептицизм, гнусное состояние ума, до тошноты напичканного лозунгами. Нет, обманщики-тоталитаристы вовсе не хотят, чтобы им верили, даже ради собственной выгоды они не хотят облагодетельствовать массы хоть какой-то верой: отвратить их от всякой веры, а в итоге и от неверия — вот чего они хотят. Ибо обманщики не ошибаются, они знают человека. Они прекрасно знают, что отказ от всякой веры не отменяет потребности в вере, но в конечном счете глубоко искажает саму природу этой потребности, она постепенно подменяется своего рода страхом, наподобие свойственных истерикам приступов внезапного голода, который больные утоляют в этот момент самой странной, а то и отвратительной пищей. Тоталитарному лжецу нужны массы рабов. Правда, слово «рабы» подходит здесь лишь отчасти, велико желание придать ему еще один смысл: «трусы». Тоталитарные массы состоят не из трусов, им нельзя быть трусами, поскольку рано или поздно обманщики будут рекрутировать из них солдат. Они трусливы только духом. Проститутка, например, вполне способна дать отпор тому, кто покушается на ее деньги или оскорбляет сохранившееся у нее понятие о собственном достоинстве, однако она не

сопротивляется мужчине-самцу: она приучена к тому, что должна его принять, дать ему все, чего он потребует. Человек тоталитарной массы так же приучен во всем угождать партийному активисту, то есть представителю малочисленной элиты, единственного объекта заботы обманщиков. Человек тоталитарной массы по отношению к активисту играет ту же роль, что самка по отношению к самцу. Когда обманщики говорят об освобождении масс, они лгут. Они не только порабощают массу, они ее проституируют, продают своим фанатикам, но даже фанатикам они остерегаются внушать какую-либо веру, разве что несколько простых, элементарных идей, жестоких, как сексуальные образы. Мы давно знаем, что, по данным статистики, и в Германии, и в России соотношение между членами партии и массой составляет примерно 5 %. Пять самцов на сотню самок — вот последнее слово тоталитарных режимов.

* * *

Европейская цивилизация, как известно, имеет всемирный характер. Неверно было бы считать, что она распространена в Европе, и только. Мы не собираемся также утверждать, будто евро-

пейский человек — это и есть Человек. Но мы полагаем, что европейская цивилизация неотделима от определенной концепции человека. Европа ли создала европейца или европеец создал Европу? Сейчас этот вопрос не имеет решения, впрочем, не так уж важно его решать. Проблема стоит иначе. Должен ли европейский человек отступить перед новыми формами цивилизаций, якобы не имеющими аналогов в истории? Если эти формы существуют, должен ли он, может ли он к ним приспособиться? Приспосабливаясь, может ли он надеяться продолжать путь к цели в авангарде или должен уступить место тем, кто лучше его? А если эти формы не существуют? Если перед нами не новая цивилизация, а упрощенная, редуцированная цивилизация, сооруженная из остатков прежней, подобно тому, как потерпевшие кораблекрушение строят шлюпку из почти неузнаваемых остатков корабля? Если эта цивилизация, урезанная по мерке воображаемого человека, этакой схемы человека, вроде тех, что используют в своих расчетах техники, оказывается чересчур упрощенной для реального человека, если шлюпка, как выясняется на практике, не выдерживает вес экипажа? Что, если противоречия человека — это и есть сам человек? Что, если все

старания любой ценой разрешить эти противоречия во имя логики и справедливости ведут лишь к деградации и падению человека? Не должно ли человеческое общество во что бы то ни стало оставаться отражением человека и его противоречий, рискуя иначе превратиться в общество не сверхчеловеческое, а бесчеловечное? Если начинать с определенного принуждения, оправданного в глазах законодателя идеей упрощенной, так сказать, статистически-математической справедливости, имея в виду установить мир во всем мире на основе всеобщего равенства, не рискуем ли мы в итоге прийти к одному из кризисов подавления, которыми являются современные войны: болезненные истерические состояния, все еще именуемые — должно быть, в насмешку — войнами? Социально-экономическое регулирование стремится раз и навсегда подавить определенные инстинкты, но не высвобождает ли оно тем самым инстинкты извращенные? Разве идеология прогресса, вместо того чтобы примирить людей ради общей задачи, не противопоставила их друг другу со всей жестокостью, разве не послужила она оправданием кровавых схваток? Не является ли идеология прогресса изобретением интеллектуалов, которое, очевид-

но, тешит и ободряет разум, но при практическом применении оказывается крайне опасным? Разве это не лабораторная идеология, которая получена лабораторными методами и, подобно некоторым сывороткам, не лечит, а калечит или убивает? Возможно ли до бесконечности реформировать общество, могут ли хирурги — с дипломами и без — продолжать кромсать его, не рискуя повредить жизненно важные органы? Разве изучение человеческого тела не открывает нам с каждым днем все убедительнее, что важность органа не измеряется его величиной, что от секреции почти незаметной железы, долгое время не привлекавшей внимания, а то и неизвестной самым искусным мастерам вскрытия, зависят болезнь или здоровье, жизнь или смерть?

Европа утратила веру в себя, а без такой веры нет европейского духа. Европейский дух заключался в том, что Европа верила в себя, в свое предназначение, в свою всемирную миссию. Она потеряла эту веру безвозвратно, ничем ее не заменив. Потеряла, ибо ей не хватило бы смелости, чтобы отречься, отказаться от нее. Говоря об этой вере, я знаю, о чем говорю. Если Европа больше не верит в себя, в мире есть миллионы людей, которые сохраняют эту веру, и они думают о Европе

— по крайней мере, время от времени — как о своем последнем шансе. Нет, нет! Я вовсе не говорю, будто существует какая-то «партия Европы», поскольку у Европы нет больше ни программы, ни доктрины; существует еще своего рода религия Европы, пока от нее не останется только суеверие, а потом и вовсе ничего… Есть миллионы людей, которым доставляет боль падение, унижение Европы, они чувствуют себя униженными вместе с ней и нередко, кстати, выражают свое унижение в горьких, кощунственных словах. Они оскорбляют Европу, потому что не перестают верить в нее. Господа, я знаю этих людей. Вы видите, как они от нас отдаляются, это правда. Но, отдаляясь, они медлят. Отходя, они опускают глаза, прислушиваются, готовые вернуться назад по первому зову. Ибо в глубине сердец они предчувствуют, что последнее слово не сказано, что история самого прославленного континента в мире не может закончиться этим хаосом. Они не допускают, что лежащей среди развалин Европе ничего не остается делать — только со стыдом признать свою болезнь и очищать себя, подобно прокаженному, который осколком бутылки соскребает сукровичную корку со своих ран. Они пытаются понять, является ли проказа, опустошающая

Европу, болезнью европейцев, не объясняется ли грозная опасность этой болезни тем, что ее возбудитель нов для нас, как когда-то был нов микроб туберкулеза для аборигенов Таити, и потому мы не обладаем против него иммунитетом.

Я говорю обдуманно, я хорошо знаю: еще не пришло время высказывать людям доброй воли некоторые истины из тех, что делают нас свободными, однако я хочу сделать именно это — высказать эти истины тогда, когда они менее всего уместны, даже не дожидаясь окончания Нюрнбергского процесса, который не могу признать великим, мне мешает воспоминание о Мюнхене. Кто однажды встал на колени перед тираном-победителем, неизбежно выглядит несколько комично в качестве его судьи. Но это неважно! Как бы ни были велики преступления Германии, полностью и безраздельно сваливать всю вину за это на народ Германии представляется мне недостойным Европы, ее прошлого, тех услуг, что оказаны ею цивилизации. Я говорю так не для того, чтобы содействовать рождению славной доброй Германии, чьи добрые инстинкты кто-то намеревается пробудить с помощью демонстрации фильма Чарли Чаплина. Я не верю в добрую Германию в том смысле, какой прида-

ют этому слову дураки. Я знаю: Германия будет мстить. Она слишком далеко зашла во зле, чтобы вернуться назад той же дорогой. Теперь она пойдет до края ночи, и никто не может сказать, настанет ли этой ночи конец, даст ли Бог время ему настать и не окажется ли ночь Германии и нашей последней ночью, последней ночью человечества. Ну да ладно! Скажу все же, что начало болезни, разъевшей Германию до костей, не пощадив ее лица, возможно, коренилось не в ней. Достаточно узнать дикую, жестокую историю пруссаков, чтобы предположить, что болезнь передалась ей от Пруссии. Пруссаки были не немцами, а славянами. При слове «славяне» умники, пожалуй, начнут перешептываться: мол, они-то знают, куда я клоню. Это я знаю, куда они клонят. Что до меня, я неизменно и неуклонно стою на том месте, которое выбрал, — может, оно не самое надежное, зато отсюда открывается хороший кругозор, так что я меньше всего рискую быть одураченным. Никто не убедит меня в том, будто он некогда верил в добрую Германию Жореса — Германию социал-демократов, а также в добрую Германию Католического центра — Германию Марка Саннье. Я всегда — еще до 1914 года — считал, что Германия являет симптомы

особо тяжелой, острейшей формы всемирного извращения, которое вышло далеко за рамки инкубационного периода, — причина, вероятно, в том, что Германия оказала наименьшее сопротивление болезни. Германия — несостоявшаяся христианская страна, я хочу сказать, она в большей степени несостоятельна как христианская страна по сравнению с другими, это анормальная христианская страна. Я никогда не обманывался насчет доброй Германии и добрых Германий, но у меня нет никакого желания поддаваться на обман современного мира, когда он изображает удивление и возмущение народом, извращению которого он скорее способствовал, чем препятствовал, — до тех пор, по крайней мере, пока находил возможным извлекать из этого выгоду. Ничто не помешает мне сказать, что Германия — грех не Европы, это грех всего современного мира, грех глубоко развращенного мира, где народы развращаются один за другим, и что последняя услуга, оказанная немецким народом старой цивилизации, некогда им почитаемой, заключается в том, что он показал каждой нации, как в чудовищном зеркале, тот образ, который, быть может, она, сама того не зная, воплощает уже сегодня и наверняка будет воплощать завтра.

Христианская Европа дехристианизировалась, ее дехристианизацию можно сравнить с девитаминизацией человека. Неважно, что это были за витамины, важно, насколько они стали или не стали необходимыми с течением времени и в силу привычки. Европа дехристианизировалась постепенно и как бы незаметно для себя самой. Это явление не ускользнуло от наблюдателей. Но они успокаивали себя тем, что у пациентки проявляются нарушения, схожие с теми, что наблюдались прежде. Уже глубоко чуждые духу христианства, упрямо отказываясь видеть в нем что-либо, кроме морали, они изучали криминальную статистику и с облегчением отмечали, что число преступлений растет не так уж существенно. Даже если считать религию все еще полезной для подавления дурных инстинктов, казалось, опасность не слишком серьезна, к тому же она не застанет общество врасплох. Если предположить, что события примут самый неблагоприятный оборот, казалось, всегда можно будет преодолеть мимолетный кризис нравственности, укрепив жандармерию. К несчастью, первые проявления болезни оказались неожиданными. Вопреки соображениям теоретиков, дехристианизация вывела первыми на авансцену истории не ци-

ничных свирепых животных, сорвавшихся с цепи запретов, точно злая собака. Тоталитарное животное, этот хищник, поочередно палач и солдат, строитель и разрушитель, то страж порядка, то виновник хаоса, всегда готовый верить всему, что ему говорят, исполнять все, что ему велят, формируется далеко не сразу. Тоталитарное животное вовсе не примитивно, напротив, это продукт цивилизации, так сказать, оставивший позади вершину своего нормального развития, он ассоциируется скорее с выродившимся аристократом, чем с антропоидом. Появившись на свет, он кичится презрением к интеллекту, однако само его появление возможно лишь в атмосфере некой анархии и своего рода интеллектуального распада. Полицейские были начеку, готовые усмирять революционное движение, возникающее среди низов. Государство тратило миллиарды, чтобы как можно быстрее заполнить обязательным образованием пустоту в умах, внезапно освободившихся от старомодных суеверий. Но революция коренилась не в низах, или, по крайней мере, революция низов не несла никакой угрозы. Революция коренилась в той среде, где, по мнению человека XIX века, можно было встретить только друзей порядка, благодетелей,

чья миссия заключалась как раз в том, чтобы защищать его от всяческого беспорядка, прежде всего от войны. Разве мог он питать недоверие к ученым, даже если это были философы? Чем больше ученых, тем больше шансов сохранить мир, стоило родиться ученому, как страдающее человечество на шаг приближалось к всеобщему миру. Тем не менее человек с автоматом, этот хищник, выйдет не из низов общества, он выйдет из философских систем.

О, знаю, знаю: возможно, вы скажете, что человек с нацистским автоматом и человек с коммунистическим автоматом по-разному представляют себе проблематичный земной рай будущего. Будущее — лишь удобный предлог… Автомат, марксистский или нацистский, стреляет по указке хозяина человека с автоматом, а по указке хозяина человек с автоматом стреляет в кого угодно. В ожидании Рая — кстати, Рай обещали как Гитлер, так и Сталин — я гляжу на автомат, а он своим круглым глазком глядит на меня. В человеке с автоматом, про которого я сейчас говорил, аксессуар — не автомат, а человек. В данном случае человек служит автомату, а не автомат человеку; это не «человек с автоматом», а «автомат с человеком». А раз так, какое мне

дело до болтовни профессоров? Если лошадь — самое прекрасное завоевание человечества, то человек — самое прекрасное завоевание автомата. Будь он нацист или марксист, человек с автоматом, тоталитарное животное, точный инструмент единственной партии, чьим сознанием управлять так же легко, как заботливо смазанным механизмом его оружия, совсем не похож на оборванных мятежников из предместья. Им движут не голод и не жажда. Он убивает не ради справедливости. Чтобы появились на свет такие существа, несправедливый мир — условие недостаточное, понадобилась еще глубокая деградация понятий справедливости и несправедливости, разложение этих понятий и стало делом интеллигенции.

Вопреки утверждениям дураков, народ — не революционер, по природе своей он слишком почитает внешнюю благопристойность и привилегии, и внезапные приступы его слепой ярости не должны обманывать на этот счет. Народ чаще всего ведет себя с обществом так же, как простолюдин со своей женой: порой он ее поколачивает, но прислушивается к ее болтовне и в конце концов всегда приноравливается к ее желаниям, по крайней мере, в своих привычках, даже

если на словах не согласен. Человек из народа — конформист, и его конформизм куда сильнее, чем нам кажется. Человек с автоматом вышел не из народа, а если и принадлежал к народу по рождению, ни традиций, ни духа народа не сохранил. Впрочем, человек с автоматом вообще лишен определенной социально-классовой принадлежности: у него отсутствует именно то, что необходимо для приобщения к какому-либо классу. Он — продукт их разложения. То, что лжецы называют борьбой классов, — всего лишь их разложение, или, пожалуй, измена классов самим себе.

Когда-то слово «революция» означало для европейского человека не то, что оно означает сегодня. Революция, в его понимании, означала как бы взрыв идеи справедливости, реванш слабых над сильными, напор анархии, сравнимый с напором сока в старом иссохшем стволе. Если повторить в иной форме то, о чем я уже говорил многократно, о чем говорил только что, революция, которая сегодня величает себя этим обманчивым словом, — отнюдь не взрыв, а ликвидация.

Одно дело, когда под огромным давлением противоборствующих сил ломается полярный

лед, и совсем другое, когда все вокруг раскисает из-за обычной оттепели: разумный человек, не кривя душой, не может спутать одно с другим. Европейская цивилизация растекается сейчас этакой лужей, но не потому, что ее одолевают зло и несправедливость, ибо те формы зла и несправедливости, что мы наблюдаем, при ближайшем рассмотрении оказываются, напротив, следствием ее глубокого упадка. Когда цель оправдывает средства, это первый признак разложения в еще живом обществе. Наше общество уже нельзя считать живым, и вот доказательство: в нем средства стали целью. Поэтому они не нуждаются ни в каком оправдании. Когда человек, с общего согласия, считается только вещью среди вещей, когда он не несет ответственности за вершины или провалы в своей, как говорили раньше, нравственной жизни (точно так же, как валюта не отвечает за колебания ее курса), климат цивилизации становится крайне благоприятным для рождения и размножения тоталитарного животного. О, без сомнения, Гегель и Маркс были далеки от мысли, что их концепция человека и истории так быстро распространится в массах. Если бы кто-то предсказал их сочинениям столь внезапный успех, они бы только посмеялись.

Боже мой, я их вполне понимаю и готов, как говорится, поставить себя на их место. Господина Эйнштейна тоже, вероятно, никогда особенно не заботило мнение масс о теории относительности. Разве открытие законов всемирного тяготения в свое время что-либо изменило в повседневной жизни среднего человека? Думаю, Гегель и Маркс не считали, что закон социального тяготения (если можно так выразиться) должен замедлить или ускорить ход истории, детерминированный, как движение светил. Но что вы хотите? Человек есть человек. Это homo faber, с самой колыбели его руки не знают покоя — его сильные и нежные руки с большим пальцем, отстоящим от прочих, его прекрасные руки… Человек вполне доволен своими руками, но недоволен своей душой, вот что надо понять. С руками у него нет проблем — руки ему подчиняются, противоречие живет у него в голове. Человек — faber, мастер: он мастер благодаря рукам; его мечта — иметь четыре, восемь, шестнадцать рук, как можно больше, лишь бы не сбиться со счета, а впрочем, многоруким его делают машины, это нам известно, само собой разумеется, об этом мы уже говорили. Зло таится в душе. У человека всего две руки, и им легко и удобно трудиться вместе. Стоит определить

задачу — и они могут работать сами по себе. Руки послушны, а разум — нет. Мало того что разум непослушен, часто он еще и судит человека, он чуть ли не враг человеку. Конечно, нельзя отрицать, что какая-то часть разума живет в согласии с руками, она как бы создана для рук (или руки для нее), это своего рода разум рук, и он не доставляет никаких трудностей. Но другая часть разума, вечно недовольная, более или менее открыто враждебна рукам: поистине, это будто другой человек в человеке. Когда этот загадочный оппонент берет верх, руки работают все медленнее, а потом и вовсе опускаются, разум рук отступает, ему не под силу вновь заставить их действовать, homo faber чувствует, что он смешон. А ведь бывает и так: руки соединяются вместе или возносятся к небу, выражая своим движением мольбу или страх перед незримым существом. Тогда и homo faber чувствует, что его охватывает тревога. Он упорно не уступает сопернику, впрочем, он толком не знает, чего тот от него хочет, но все-таки вынужден его терпеть. Неспособный освободиться, он мстит: вымещает свой страх на творениях собственных рук, крушит то, что создал этими чудесными руками, в разрушении он столь же силен, сколь искусен в созидании. Мы ничего

не понимаем в человеке, если думаем, будто для него естественно гордиться тем, что его отличает — или якобы отличает — от животных. Средний человек ничуть не горд своей душой, он хочет только одного: отказаться от нее. Он отказывается от нее с огромным облегчением, как просыпаются от страшного сна. Он с какой-то непостижимой гордостью воображает, будто открыл, что душа не существует. Метафизическая тревога у среднего человека почти целиком сводится к этому тайному отрицанию, самообману, бесконечным уловкам, которые нужны только затем, чтобы куда-нибудь, неважно куда, сбыть душу, сложить с себя это бремя, утомительное сознание добра и зла. Хорошо бы этой души не было! Если уж она, к несчастью, существует, хорошо бы она не была бессмертной! Вера в свободу, в ответственность человека никогда не была утешительной иллюзией для простых людей, невежд; тысячелетиями она была традицией элиты — это и есть дух цивилизации, сама цивилизация, которую передают гении. Во все века миллиарды дураков, бесчисленное множество дураков на множестве наречий повторяли с понимающим видом: «Когда мы умираем, все умирает». Если они этого не говорили, значит, не смели, стыдились так гово-

рить, предпочитали доверяться Мудрецам, более сведущим, чем они. Но как только ослабевает авторитет Мудрецов, авторитет Сильных, как только цивилизация дает крен, человек массы снова начинает искать пустырь или перекресток, где бы он мог потерять свою бессмертную душу в надежде, что ему никто ее не вернет. И вдруг Мудрецы, в свою очередь, совершают то, что прежде считалось низостью. Люди, на которых всегда смотрели как на хранителей самой высокой традиции рода человеческого, отказываются от этой миссии. О, вероятно, жест отказа был еще почти неуловим, но этого жеста массы ждали всегда, с момента изгнания из Рая. Авгуры вещают вполголоса, но среднее человечество, уже раненное в сердце предчувствием близких катастроф, жаждет избавиться от ответственности, оно предпочтет претерпевать события, вместо того чтобы им сопротивляться, и теперь прислушивается даже к шепоту. Кажется, оно способно на расстоянии прочесть по губам приговор, которого оно так ждет, который снимет с него груз совести. Человек не свободен, то-то радость! Ученый не свободнее неуча, мудрый не свободнее дурака, вот удача! Равенство сразу же, одним махом захватывает все, что проигрывает свобо-

да; свобода побеждена, и не просто побеждена — вырвана с корнем, уничтожена в самой основе, в ее духовном истоке. Несправедливости больше нет — не потому, что справедливость одержала над ней победу, такая победа, признанная невозможной, — пустая иллюзия диалектики; но потому, что больше нет справедливости, как если бы мы сократили, свели к нулю все расстояния, радикально упразднив пространство! Человек не ответствен за историю, мы можем умыть руки в истории, как в чаше Понтия Пилата. Да падет на нас кровь Праведника Сего! — кричали евреи две тысячи лет тому назад[23]. Но нет больше ни праведных, ни неправедных, как нет верха и низа, и потому кровь не падет никогда!

Легко принять такую доктрину за революционную. Она не революционна. Или революционна в том смысле, что революционизирует революцию, отменяя ее. Она отменяет революцию, отменяя историю. А отменяя историю, тем самым устраняет Европу. В мире без свободы нет места для Европы. Мне говорят, что человек не свободен. Но кто мне это докажет? А если спросят, кто докажет мне обратное, я в свою очередь отвечу:

---

[23] Примечания: 23
Ср.: Мф. 27, 24–25.

«Поскольку, в конце концов, вопрос разрешим посредством пари, — что ж, я держу пари за человека». Европа всегда держала пари за человека. В этом пари она поставила на карту все, и вот тому доказательство: она рушится вместе со свободой.

Кто спасет свободу, спасет Европу. Кто погубит свободу, погубит Европу… Но нужно ли говорить о свободе? Судьба свободы связана с судьбой свободного человека, свобода — это свободный человек. Ведь все мы знаем, что как раз во имя либерализма — странный парадокс — зарождающийся капитализм принес свободного человека в жертву беспощадному детерминизму вещей — тому, что мы осуждаем в марксизме. Капитализм преобразует общество в простую производственную машину и, истощая, полностью лишает его духовных сил, необходимых, чтобы в нем поддерживался некий уровень гуманности, чтобы оно оставалось человечным. По понятиям простонародья, кровь (для него это лишь жидкая плоть) у больного водянкой превращается в воду вследствие общего процесса распада живых тканей; так и современное общество, беспощадно понуждаемое производить, теряло сочившуюся из всех отверстий священную сущность. Так называемое современное общество, будь оно либеральным

или марксистским, неуклонно ослабляло нравственную сопротивляемость человека, усиливая за счет этого эффективность производства вещей. Какой же смысл противопоставлять либерализм марксизму, если это лишь две формы, у которых одна суть: отказ человека от своей судьбы.

* * *

Часто говорят, что новый мир, который обличал Пеги, — это действительно мир механизмов, и когда я, в свою очередь, его обличаю, мной, по всей видимости, движет слепая ярость, подобная той, что некогда заставила лионских рабочих наброситься на первый ткацкий станок. О, прошу прощения. Легко сказать: слепая ярость. Но так ли уж обманул инстинкт лионских рабочих, если мы опасаемся, если можно опасаться вместе с Жолио-Кюри и Эйнштейном, что ядерный эксперимент, который станет самым убедительным, взорвет нашу планету? Напрасны будут возражения: мол, никакая сила в мире не могла бы остановить развитие физики и связанных с ним изобретений: как будто машины, наподобие животных, способны сами по себе размножаться во внезапно ставшем благоприятным климате. Скорее, придется сказать, что разум человека не

совладал с собственным творением.

То, что я говорил о контрцивилизации, можно истолковать как осуждение науки и ученых. Хотелось бы объясниться по этому поводу. Я не разочарован в науке и в ученых, как это, например, случилось недавно с одним человеком, раньше слепо верившим в науку, в ученых, в механический рай. Не наука и не ученые ускорили до абсурда механическую эволюцию, но разгул вожделения во всем мире, вызванный новыми и неожиданными формами спекуляции.

Современный мир основан не наукой, а наукой на службе у спекуляции; современный мир — не единственно возможный (что было бы ему оправданием), но всего лишь наш сегодняшний мир, я хочу сказать: один из множества возможных современных миров — возможных, если бы наука не порвала с совестью и не стала служить без разбора любым господам. Конечно, никакая сила не способна остановить и даже замедлить движение человеческого разума. Но человеческий разум не обязательно движется в одном и том же направлении, устремляясь к одной и той же цели. Человеческий разум продвигается одновременно в нескольких направлениях, и если он замедляет движение в одном из них, бросаясь в другую

сторону, равновесие цивилизации нарушается. Люди начинают вымирать.

Если бы наука, подгоняемая вожделениями, которые только и жаждали ею воспользоваться, не сделала этих громадных скачков вперед, открытие расщепления ядра плутония, несомненно, произошло бы позже и не застало бы человечество в разгар кризиса нравственного нигилизма, когда оно готово совершить любое безумство — прежде всего безумство самоуничтожения. Если бы египтяне или греки руководствовались в своем созидании концепцией человека и жизни, подобной нашей (или хотя бы с ней сопоставимой), мы бы, наверное, никогда не узнали диалогов Платона и угрожающая нам планетарная катастрофа, возможно, произошла бы уже давно. Вы скажете, что нельзя сравнивать цивилизацию машин с цивилизацией Пропилеев, что такое сравнение — всего лишь игра ума. Увы! Они не только сравнимы, они противостоят друг другу. Мы знаем, что машины и Пропилеи находятся не в двух разделенных мирах: они существуют бок о бок. А поскольку они сосуществуют, мы не вправе рассуждать так, будто Пропилеи столь же опасны для машин, как машины для Пропилеев, будто машины и Пропилеи могут бесконечно

противостоять друг другу, держась на почтительном расстоянии, подобно двум противникам равной силы, равно вооруженным… Пропилеи абсолютно беззащитны перед машинами. А машины, которые всё могут *против* них, *для* них не могут почти ничего. Как заметил недавно Жюль Ромен (на этот раз я с ним согласен), если правда, что крошечный снаряд способен уничтожить город за семь десятых секунды, то мы точно знаем, что нам никогда не наверстать наше отставание от атомной бомбы, мы точно знаем, что не скоро изобретем машину, которая за семь десятых секунды восстановит уничтоженный город. Замечание простое, но тем более потрясающее. О, конечно, человечеству не нужны города, оно могло бы даже вернуться к кочевой жизни, обрести передвижной приют в машине, которая сносит города. Но ошибочно мнение, будто машины, так или иначе, лишь изменят декорации, то есть условия жизни, поскольку, в самом деле, нет условий, к которым человек не мог бы приспособиться. Такой упрощенческий взгляд поддерживает и укрепляет спокойствие дураков. Человек не живет внутри механизма, как неподвижный предмет в коробке, форму и цвет которой можно изменять сколько угодно без

всякого риска. Улитка живет в своей ракушке, но ракушка — это тоже улитка. Механизация мира — можно сказать: тоталитаризация мира, это одно и то же — отвечает желанию современного человека, тайному, постыдному желанию отступиться, отречься от себя. Машины умножались в мире по мере того, как человек отрекался от самого себя, в них он как бы воплотил свое отречение. Рано или поздно история скажет (если к тому времени останется хоть одно мыслящее существо, способное писать историю), что механизмы меньше изменили планету, чем хозяина планеты. Человек сотворил машину, и машина стала человеком[24], как будто по сатанинскому умыслу оказалась вывернутой наизнанку тайна Воплощения…

Вам уже приходилось слышать, что я разрушитель, а не созидатель. Я отказываюсь называть созидателями и людьми конструктивными тех, кто фабрикует конституции (несмотря на еле слышное созвучие в словах). Как только встречу созидателя, обещаю вернуться сюда и сообщить вам об этом, но, вероятно, он заявит о себе сам. Что касается меня, я только свидетель, я свиде-

---

[24] Примечания: 24
Ср.: Ин. 1,14: И Слово стало плотию…

тельствую о том, что вижу. Я вижу, как строится мир, где человек не сможет жить, — увы, это слабо сказано; человек сможет в нем жить, но при условии, что он будет все меньше и меньше оставаться человеком.

Впрочем, этот мир не строится, меня лишь хотят убедить в том, что он строится. Он не созидается, это только иллюзия созидания, потому что в нем уродуют, калечат, уничтожают все, что прежде принадлежало свободному человеку, все, что было создано ему на потребу и могло бы напомнить завтра тоталитарному роботу о достоинстве, которого он лишился и уже никогда не обретет. С помощью разрушительной техники, отбойных молотков, экскаваторов и усовершенствованных взрывателей разрушители-оборотни в фуражках с надписью «строители» организуют мир для несуществующего человека. Обманщики не требуют, чтобы я верил, будто такой человек существует, они требуют верить, что когда-то он будет существовать, причем требуют так настойчиво, что, кажется, я уже чувствую направленное мне в затылок дуло пистолета. О, конечно, они не обещают нам этого человека прямо завтра, они не обещают нам счастья, они бы не посмели прикидываться, будто не видят,

что брезжит на горизонте. Они охотно соглашаются, что этот их человек родится еще не скоро, что он не будет похож на них, что они могут дать нам о нем лишь поэтическое представление. Они его предвозвещают, вот и все, они не столько его предшественники, сколько провозвестники. А пока его нет, пока мы даже не уверены, сможет ли он когда-нибудь существовать, многие миллионы, несчетное множество людей, бесчисленные поколения будут подыхать в мире, предназначенном для какого-то другого существа. Это неважно! Важно только сразу же сделать эксперимент необратимым, уничтожив человека-христианина. Важно сделать завтрашний мир таким же непригодным для жизни христианина, каким был мир ледникового периода для мамонта.

Европейская цивилизация рушится и ничем не заменяется. Такова правда. Все грандиозные накопления цивилизации, человечности, духовности, святости предлагают обменять на необеспеченный чек, подписанный неизвестным именем, поскольку это имя создания, еще не появившегося на свет. Мы отказываемся сдать Европу. Впрочем, от нас требуют не сдать Европу, а ликвидировать ее. Мы отказываемся ликвидировать Европу. Не настало еще время

ликвидировать Европу, если оно вообще должно когда-либо настать. Да, закат Европы начался, как известно, не вчера. Но нам известно также, что закат Европы означал закат мировой цивилизации. Европа стала склоняться к закату, когда она усомнилась в себе, в своем призвании, в своем праве. Невозможно отрицать, что этот момент совпал с наступлением тоталитарного капитализма. Я вновь повторяю: *тоталитарного капитализма,* ибо либерализм был для него только этапом, только средством создать повсюду проблемы, для решения которых необходим дирижизм. Капитализм и тоталитаризм — лишь два аспекта главенства экономики. Тоталитарное государство не выступает против денег, а заменяет их собой. Конфискуя в свою пользу всю власть денег, оно захватывает все коррупционные организации, но не для того, чтобы их устранить, а чтобы их использовать. Великое несчастье, а вернее, крайнее убожество того общества, смерть которого нам предрекают (как будто оно когда-нибудь действительно жило в полном смысле слова), заключается не во власти денег, а в том, что деньги были его законным властелином, не только могущественным, но и почитаемым. Деньги мало-помалу захватили все, что теря-

ла честь. Миллионами своих присосок деньги медленно, день за днем, впитывали всю честь, какая только оставалась в мире, и вот гигантский спрут раздулся так, что рискует лопнуть, едва шевельнется. На это чудище, почти бездыханное, нацелена громадная разинутая пасть тоталитарного государства, готового проглотить единым духом, за один присест, честь и деньги. Мы знаем, что ни того ни другого оно не отдаст.

Мы отказываемся ликвидировать Европу. Европа испытывает натиск колоссальных сил, но они едва ли достойны называться силами. Скорее, они вызывают мысль о зонах депрессии, образовавшихся в мире после обвала обширных фрагментов цивилизации, цивилизации, подаренной миру Европой. Толчки антагонистических сил, сотрясающие Европу, не так опасны, как затягивающая ее пустота. Европейская цивилизация клонится все ниже по мере того, как повсюду беспредельно растет число опустившихся, выродившихся, потерявших достоинство людей, для которых цивилизация — не долг по отношению к прошлому, не ответственность перед будущим, а только источник удовольствий и выгоды. За этих людей европейская цивилизация не отвечает. Они отвергли, презрели ее тради-

цию, ее дух. Рост числа таких людей — признак всемирного кризиса, кризиса всего человечества, который в точности совпал с крушением, так сказать, духовно-интеллектуальных устоев Европы. О, без сомнения, последствия опасных сдвигов в первую очередь обрушились на грандиозное политическое здание Европы: этот славный монумент, шедевр гармоничных пропорций, был возведен не для того, чтобы выдерживать катаклизмы, которых не помнит цивилизация. Я говорю «катаклизмы», а не «катастрофы». Понятно, что в организованном мире цивилизация была первым условием могущества. Сегодня, чтобы стать цивилизованным, народу требуется не меньше времени, однако техника позволяет ему гораздо скорее достичь могущества. Все мы знаем, какой была Россия чуть больше ста лет тому назад. Мы знаем, что с ней сделала техника, соединенная с режимом диктатуры. Мы вправе полагать, что этот скачок техники, происходящий — скажем так — в пустоте, то есть в среде, почти полностью лишенной свободы, оказался явлением совершенно новым, способным расшатать любую цивилизацию. Ведь, в конце концов, мы слишком часто забываем о том, что первый тоталитарный эксперимент состоялся в 1917 году,

нарушив моральное и материальное равновесие Европы. Поскольку сама Россия никогда не считала себя солидарной с судьбами Европы, мы вправе сказать, что тоталитарный феномен — во всяком случае, по происхождению — не является, собственно говоря, феноменом европейским.

Европейская цивилизация — не массовая цивилизация. Я знаю, сегодня слову «массы» придают какой-то мистический, чуть ли не религиозный смысл. Мне до этого нет дела! Цивилизация затем и нужна, чтобы были не массы, а люди, достаточно сознательные, чтобы никогда не превращаться в массу, даже если они собраны вместе. Не говорю, что цивилизация в этом преуспела, говорю только, что она должна к этому стремиться. Современный мир никогда не ставил целью создать массовую цивилизацию, но он не способен создать ничего иного, кроме этого монстра, и хвалится, будто такова его воля, в то время как он идет на это по необходимости, а точнее, по бессилию. У современного мира массы в чести, он, можно сказать, поклоняется массам. Поклоняясь массам, он поклоняется себе и обожествляет себя, ибо узнает себя в них. Да, в лице трудящихся масс он возвеличивает не бедность, не труд, а массу как священное Целое, Тоталь-

ность, недаром этим трижды благословенным именем нарекли тоталитарную цивилизацию. Современный мир создал условия для формирования типа людей, у которых грубый социальный инстинкт получает патологическое развитие в ущерб социальному чувству, социальному гению: их притягивает друг к другу своего рода физическая необходимость, они соединяются либо для взаимоуничтожения, либо для совместного наслаждения и таким образом вынужденно обобществляют все, что осталось у них от ненависти и любви.

Массы, чем дальше, тем больше, состоят не из людей, объединенных сознанием своих прав и желанием их защищать, но из массовых людей, чья задача — массово выживать в массовой цивилизации; появись в ней ничтожная диссидентская группка людей свободных — это сочтут серьезным нарушением равновесия, угрозой катастрофы, этакой трещиной, брешью, способной внезапно вызвать падение всего здания. Диктатура масс — это вовсе не освобождение масс. Напротив, легко представить себе диктатуру порабощенных масс, и эта диктатура будет тем страшнее, чем более «массовы», то есть чем более порабощены, будут массы. Возможно, сей-

час не время и не место говорить об этом, но я говорю. Тороплюсь, потому что нам дано не так много времени, чтобы сказать это, но однажды сказанного уже не заглушить, ведь речь идет об истинах, согласных со здравым смыслом; они сами будут говорить, когда наши рты забьются землей, и те, кто придут после нас, увидят их, когда наши глазницы давно опустеют.

Нет! Меня не одурачить заботой о массах, которую проявляют новые элиты отступников… Все эти люди сегодня возвещают пришествие масс, но за этим стоит их нежелание признаться, что они слагают с себя слишком тяжелые обязательства по отношению к массам. Они возвещают пришествие масс, не чувствуя в себе сил и мужества, чтобы создать из этих масс нечто иное. Они возвещают пришествие масс, а вскоре, действуя в том же духе, они избавятся от империи под предлогом исправления ошибок и преступлений «колониализма», но в действительности потому, что они не знают, что делать с империей, которая для них слишком велика. Истинное великодушие измеряется тем, что дают добровольно, а не тем, что выпускают из рук. Когда заявляют о капитуляции во имя справедливости, это почти всегда означает капитуляцию справедливости.

Вновь я произношу слово «капитуляция» с роковым предчувствием. Для нас, как видно, капитуляции еще не кончились. Но, быть может, от нас, от немногих людей, зависит положить конец той постыдной двусмысленности, которая позволила в последние годы придавать слову «капитуляция» любые значения, кроме единственно подходящего: трусость. Мы никогда не удержим трусов от капитуляции — это, впрочем, означало бы чудесным образом изменить их натуру. Но, быть может, мы сумеем помешать им капитулировать без стыда и даже — по знаменитому отныне выражению правительства Виши — «с честью и достоинством»! Быть может, мы сумеем лишить чести капитуляцию, а заодно и выродившуюся, падшую, безжизненную цивилизацию, принимающую все свои капитуляции за победы.

* * *

Вы знаете, я не из тех, кто щадит себя, и вас я сегодня не слишком щадил, я злоупотребил вашим терпением. Я не надеюсь, что, выходя из этого зала, вы будете благословлять меня за то, что я вселил в вас оптимизм и настроил на спокойный вечер и безмятежный сон. Впрочем, будьте осторожны! Ночь без сновидений не всегда пред-

вещает счастливое пробуждение. Большинство осужденных на смертную казнь в последнюю ночь спят крепким сном… Я не принимаю вас за осужденных на смертную казнь, но считаю, что вам грозит смертельная опасность. Но, видите ли, умирает лишь тот, кто хочет умереть, ибо на самом деле есть лишь одна смерть, которая заслуженно называется смертью, настоящая, мертвая смерть: умереть побежденным. А побежден лишь тот, кто отчаялся. О, знаю, вообще-то я не похож на учителя надежды! И правда, я не учу надежде. Надежде не обучают, как грамматике. Надежда, как и вера, это милость Божия. От нас требуется только готовность ее принять. Но мы будем готовы уповать на то, что неложно, после того как отчаемся в том, что ложно. Так вот, я призываю вас отчаяться в ваших иллюзиях, тогда отчаяние будет у нас служить надежде. Вы просите лекарств. Зачем нам вместе искать лекарства от ваших болезней, если вы не знаете, от чего умираете?

Можно думать что угодно о современном мире, но, по-моему, настало время выяснить, создан ли современный мир для людей или люди созданы для современного мира, то есть вправе ли мы позволить современному миру попытку спастись

за счет людей. Мы прекрасно понимаем, что современный мир, или своего рода механически-концлагерная цивилизация, которую мы так называем, сейчас занят тем, что — не спасается, конечно, простите, что я употребил это слово — выживает за счет человека, за счет многих миллионов людей, истребленных, замученных, брошенных в застенки, истерзанных голодом. За счет миллионов людей, допустим, но также за счет хлеба, вина, рек, лесов, славных городов, гибнущих один за другим под бомбами. Мне внушает ужас — дай бог, чтобы я смог передать вам этот ужас! — не то, что современный мир все разрушает, а то, что все эти разрушения ничуть его не обогащают. Разрушая, он растрачивает себя. Эта цивилизация — цивилизация потребления — просуществует до тех пор, пока будет что расходовать. О, знаю, вам трудно согласиться с таким ее определением, ведь, казалось бы, единственный ее закон — это именно производство, даже перепроизводство, чрезмерное производство. Но это чудовищное производство, этот гигантизм производства и есть признак хаоса, в который она неизбежно рано или поздно впадет. Разрушая, она расходует себя. Производя, она разрушает себя. Механически-концлагерная цивилизация

производит товары и пожирает людей. Невозможно установить пределы для производства товаров. Механическая цивилизация перестанет производить товары только тогда, когда она пожрет всех людей. Она будет истреблять их в войнах, уничтожая огромные массы, кучи людей, она будет пожирать их и поодиночке, из одного за другим вынет мозг, душу, духовную сущность — то, что делает их людьми. И было бы безумием, теперь я это понимаю, думать, будто она способна когда-то сделать счастливыми этих обесчеловеченных людей в созданном для них мире. Она их уничтожит, погибая; они умрут вместе с ней, если такие люди еще могут рассчитывать на право и честь умереть.

Знаю, что, говоря так, я оскорбляю ваш здравый смысл, хотя именно к нему я обращаюсь, стараясь вас убедить. Вы думаете, что цивилизация, какой бы она ни была, не может вот так сделаться враждебной людям. Вы рассуждаете, что, должно быть, наша цивилизация пришла в свой срок и течения истории никто не остановит. Увы! Образ реки истории, хотя это только образ и ничего больше, определяет ваши мыслительные рефлексы. Вы видите — я говорю: «видите» — вы действительно видите эту огромную реку, она движется величе-

ственно, неодолимо, унося с собой человечество… А я вижу, что историю делают люди. Но не всю историю. Не только люди регулируют направление и ход истории. Однако без постоянного усилия людей цивилизация быстро исчерпывает свои ресурсы и свою устремленность вперед. Сейчас речь идет не о том, чтобы остановить течение реки или даже вернуться по ней вспять. Напротив, нужно открыть путь потоку, открыть путь для истории. Современный мир движется не слишком быстро. Его движение становится все медленнее. Только его нелепые летающие механизмы ввинчиваются в пространство со скоростью молнии. Сам он тяготеет к неподвижности, ибо двигаться по кругу — значит стоять на месте. Современный мир безостановочно производит механизмы, как заезженная пластинка без конца повторяет одно и то же слово и будет повторять его до тех пор, пока вы не снимете ее и не выбросите в окно. Любая цивилизация бесконечно производит механизмы и может произвести их больше или меньше. Но современный мир не довольствуется тем, что производит механизмы, он сам становится механизмом. И если не принять мер, этот механизм будет без конца усложняться, так что всего объема естественной деятельности чело-

века станет недостаточно, чтобы его содержать. Машинная цивилизация в основе своей была лишь средством извлечения дохода или пользы, но средство станет — если уже не стало — целью. Боже мой, поймите, прошу вас, все это не образы и не метафоры, это простейшие истины, подсказанные житейским опытом. Разве для скупца золото — оно ведь тоже только средство — не становится целью? Разве скупец не способен принести себя в жертву своему золоту, разве он не готов скорее умереть, чем лишиться хоть малой его части? Нам знакомо подобное сумасбродство. Но если бы мы не знали такого примера, сочли бы мы это возможным? Дело в том, что вопреки мнению лжецов, которые полагают, будто человеком движет лишь любовь к собственной персоне, в нем есть на самом деле нечто иное. В человеке живет непонятная тайная ненависть не только к себе подобным, но и к себе самому. Можно дать любое объяснение этому таинственному чувству и его происхождению, но как-то объяснить его необходимо. Мы, христиане, считаем, что оно является отражением другой ненависти, в тысячу крат более глубокой и более осознанной, — ненависти Духа неизреченного, того, кто был самым лучезарным среди светил бездны и кто никогда

не простит нам своего великого падения. Вне гипотезы о первородном грехе, то есть о глубинном противоречии нашей природы, определение человека, какой бы ясной ни была формулировка, перестает быть определением человека. Человек проскользнул сквозь дефиницию человека, как горсть песка между пальцами.

В последней книжечке Уэллса «Разум у последней черты», которую правильнее назвать не завещанием, а проклятием, знаменитый писатель, когда-то наивно считавший себя пророком будущего рая машин, нового золотого века, произносит слова отчаяния:

> Человеческий род исчерпал свои возможности. Разум потерял способность достаточно быстро приспосабливаться к условиям, меняющимся с неслыханной скоростью. Мы на сто лет отстали от наших изобретений. Этот разрыв будет лишь возрастать. Хозяин Творения утратил гармонию со своим окружением. Итак, человеческий мир не просто терпит крах, он уничтожен, он ничего не оставит после себя. Попытка еще раз описать «Облик грядущего» была бы пустой затеей:

нам нечего от него ждать.

«Мы на сто лет отстали от наших изобретений, этот разрыв будет лишь возрастать». Какая сила и сколько яда в этих образах, остроумных и вместе с тем поверхностных, так благосклонно принимаемых дураками, которым они заменяют общие понятия. По размышлении, что означает это опережение людей цивилизацией? Невозможно догонять бегом цивилизацию. Цивилизация — творение человека, а человек способен придумать множество различных цивилизаций. Его задача — найти ту, которая лучше всего ему подойдет, то есть позволит ему наилучшим образом реализовать себя в этом мире. Чтобы выбрать наверняка, он должен прежде хорошенько познать самого себя. Но люди не могут прийти к согласию даже по поводу собственного определения. И потому они легко вовлекаются в злополучные эксперименты, основанные на ложном или неполном определении человека. Но дуракам претит задумываться над такими проблемами, они предпочитают полагаться на Время. Нынешняя цивилизация лучше вчерашней — это неизбежность, а завтрашняя по той же причине определенно будет лучше. Если людям

в ней тошно, если они пожирают друг друга, как крысы в крысоловке, оказывается, все дело в том, что цивилизация эта — не сегодняшняя, а завтрашняя или послезавтрашняя! Человек отстает от календаря, вот и все. Так вот, хватит с нас этих глупостей! Они придуманы для неразвитых или слаборазвитых народов, внезапно выведенных техникой из варварства или из состояния, худшего, чем варварство, — из рабства, самого унизительного рабства, из бездны рабства, где последний раб ищет кого-то еще более бесправного, стремясь, в свою очередь, его поработить, как мужики, описанные Горьким в его бессмертных воспоминаниях детства: они считали себя почти счастливцами, если им удавалось каждый день бить жену, но не до смерти, чтобы назавтра можно было снова приняться за прежнее. Я говорю, что цивилизация, порождающая непримиримые войны, выживает лишь благодаря цинично-откровенной или замаскированной политической диктатуре, жесткому экономическому регулированию и всемирному концерну по отуплению людей, мощное развитие которого под именем Пропаганды рано или поздно позволит обрабатывать общество столь же легко, с помощью столь же надежных технологий, как обрабатывают

любое другое сырье, — я говорю, что эта цивилизация не опережает человека, а отстает от него.

Грозит ли человечеству смерть, да или нет? Не является ли кризисом всей цивилизации то, что нам хотят выдать за кризис капиталистического строя? Нельзя сказать, что мы когда-либо думали отождествлять капитализм и цивилизацию. Напротив, мы думаем, что капиталистический строй сам собой, и с каждым днем все быстрее, скатывается по наклонной плоскости государственного регулирования экономики к тоталитарному режиму, но докатится до него, лишь когда избавится от всего, что еще осталось в нем человеческого. Мы охотно верим, что капиталистическая цивилизация — это неудавшаяся цивилизация, или, если вспомнить подходящее слово Честертона, обезумевшая христианская цивилизация, и с каждым днем нам становится понятнее, что ее безумие — это буйное помешательство, delirium tremens. Вместо того чтобы лечить взбесившееся человечество, тоталитаризм предлагает посадить его на цепь: заковать бешеное человечество в кандалы тоталитарного труда, закабалить пятилетними планами, приковать его к работе, опоясав цепью и предварительно выколов ему глаза, как приковывали

раба к масляному прессу, галерника — к борту галеры. Нет, не нужно разрушать машины, нужно понять, что цивилизация машин чрезвычайно благоприятствует тому, чтобы свободные люди были медленно, но верно подавлены массами, то есть безответственным государством… Безответственным государством, которое существует для того, чтобы истреблять всех, кто высовывается, душить всех, кто сопротивляется. Государством-богом, богом в мире без Бога, который вскоре станет миром без людей, и тогда воссияет во всей очевидности таинственное единство Бога и людей, высочайшая тайна христиан. Речь не идет о воспитании свободных людей в ущерб массам, поскольку массы зря полагаются на собственный вес и объем: они не выживут без свободных людей, если человечество лишится свободных людей, массы не замедлят погибнуть, как опадают листья с дерева, лишенного соков. Речь не идет и о разрушении машин, скорее напротив, об их спасении, так как цивилизация машин в конце концов приходит к разрушению машин. Разве атомная бомба — не машина для разрушения машин? Это именно машина, предназначенная для разрушения машин. А главное, она предназначена для уничтожения масс, для

того, чтобы размолоть их в мясорубке. Вот так обнаруживается истинная природа и выясняются тайные мотивы заботы о массах, которую при всяком удобном случае изображает современный мир: это плотоядная забота хищника.

* * *

Мир будет спасен только свободными людьми. Во время краткой поездки в Германию эта простая истина, не угасая, горела в моем сердце, как колеблемый ветром слабый огонек в ночи. Ибо над Германией, повторяю, простерлась ночь. Германия погружена в глубокую ночь. Будет ли просвет в этой ночи, или и нас в свою очередь поглотит мрак? Увы! Когда я удалялся от разрушенных городов, нависшая над ними призрачная тень преследовала меня в пути, она охватывала горизонт, грозя вот-вот накрыть меня. Я видел призрак Европы, вот что я видел: призрак оставшегося в прошлом христианского сообщества. Германия была на свой лад христианской страной, Пруссия превратила ее в вооруженную нацию. Гитлер сделал из этой вооруженной нации массу, неодолимую массу, стальной блок, такой несокрушимый, что, стараясь его разбить, Европа, видимо, разбилась сама. Если бы спа-

сение заключалось в массе, Германия не была бы сегодня грудой обломков. Теперь же мы понимаем, что Германию могла бы спасти горстка свободных людей, чей пример, чье мученичество помешали бы сплочению германской массы, пока было еще не поздно. Мир спасут только свободные люди. Говоря так, я верен европейской традиции. Я отдаю должное традиции моей страны, которая многие века представляла собой не только ясный jam, но и пламенное сердце Европы. Я соглашаюсь с людьми как XIII, так и XVIII века, со святым Бонавентурой, как и с Паскалем, с Паскалем, как и с Жан-Жаком Руссо. Мир спасут только свободные люди. Нужно создавать мир для свободных людей.

Перевод Н. В. Кисловой

Наши друзья святые

Эти великие судьбы отличны от других тем, что не подвластны какому-либо детерминизму: они озарены лучистым, ослепительным сиянием свободы.

Тунис, апрель 1947 года

Если бы сам отец де Фуко[25] попросил меня прочесть эту лекцию, боюсь, я постарался бы найти предлог для отказа, словно испытывая его великодушие. Но он попросил меня об этом через своих дочерей — и вот я здесь, перед вами, и все мы здесь собрались, что неопровержимо доказывает: дочери отца де Фуко в конце концов всегда осуществляют то, чего хотят. Может быть, это не совсем чудо, но уже нечто вполне похожее на чудо. Пусть это будет подготовительное чудо. Ибо, поскольку я неосмотрительно решился говорить

---

[25] Примечания: 25

Отец де Фуко Шарль Эжен (1858–1916) — католический священник, исследователь Африки, в частности языка и культуры туарегов Сахары, среди которых он жил. Этот миссионер-отшельник проповедовал не словом, но личным примером подражания Христу. В 1916 г. был убит мусульманами-повстанцами. Позднее по всему миру распространилось движение духовных последователей отца де Фуко (монашеские конгрегации Малых братьев и сестер Святого Сердца Иисусова). Причислен к лику блаженных в 2005 г.

с вами сегодня о стране, куда нога моя не ступала, хоть я бывалый путешественник, и у меня даже нет уверенности в том, что мне когда-либо встречался хотя бы один настоящий коренной житель этой страны, — словом, поскольку я решился говорить о святых и о святости, будет самым настоящим, бесспорным чудом, если вам удастся выслушать меня без скуки… В общем, что тут скажешь? Постарайтесь быть как можно снисходительнее: это моя первая проповедь.

Вы мне ответите, что я мог бы выбрать другую тему. Сомнительно. Видите ли, чаще всего не мы выбираем тему, а тема выбирает нас. Любители литературы охотно верят, будто писатель создает в своем воображении что хочет. Увы, власть писателя над его писательским воображением сравнима с гарантированной нам Гражданским кодексом властью над нашими очаровательными и миролюбивыми подругами — вы понимаете, что я хочу сказать? Когда я получил письмо, написанное удостоившей меня такой чести сестрой Симоной из ордена Евхаристического Сердца, поначалу — кажется, я уже говорил — у меня было искушение увильнуть, как у лошади, которая пасует перед препятствием. Но раз уж я не отступил сразу, я хочу сделать все, что в моих

силах, как добросовестный старый конь, который всегда берет барьер в средней, самой высокой его части… «Ах вот как, — подумал я. — Ну что ж, будь что будет! Расскажу им о святости». Но если откровенно, тема, сама тема уже завладела мной, и мне стало ясно, что жребий брошен и ни о чем другом говорить я не смогу.

Но, прежде всего, какую цель ставлю я перед собой, говоря о святых? О, конечно, я не намерен вас поучать! Если и стану поучать, то, по крайней мере, не нарочно, уверяю вас. Мы попробуем говорить о святых так же невозмутимо, как дети говорят между собой о взрослых, мы попытаемся всего лишь обменяться впечатлениями об этих людях, одновременно столь далеких и столь близких нам.

Вспоминается знаменитый стих Элюара из его «Герники»: «Смерть так трудна… и так легка…». То же самое вполне можно сказать о святости.

Она кажется нам страшно трудной, быть может, просто потому, что мы не знаем и даже никогда всерьез не задумываемся, что это такое. Совсем как дети, когда они говорят о взрослых. Они не знают, что думать о взрослых, не смеют знать, что о них думать, просто играют, будто они — «дамы и господа». Потом, постепенно, играя вот так во

взрослых, они в свою очередь взрослеют. Может быть, это и есть подходящий рецепт? Может, играя в святых, мы в конце концов станем святыми? Во всяком случае, похоже, что маленькая сестра Тереза взялась за дело именно так: можно сказать, она стала святой, играя в святых с Младенцем Иисусом, совсем как тот малыш, который управляет заводным поездом, а потом, без долгих размышлений, становится железнодорожным инженером или просто начальником станции…

Позвольте мне немного задержаться на этом сравнении с железной дорогой. На мой взгляд, оно не так уж глупо… Вполне можно представить себе Церковь как огромное транспортное предприятие для сообщения с Раем — почему бы нет? Так вот, спрошу вас: что бы мы делали без святых, организующих перевозки? Конечно, за две тысячи лет компании пришлось пережить немало катастроф: арианство, несторианство, пелагианство, великий раскол с Востоком, Лютер… и это только самые известные аварии и столкновения. Но, скажу вам, если бы не святые, христианство представляло бы собой всего лишь гигантское нагромождение опрокинутых паровозов, сгоревших вагонов, покореженных рельсов и ржавых железяк, догнивающих под дождем.

Уже давным-давно никакие поезда не ходили бы по заросшим травой путям. О, я прекрасно понимаю: некоторые из вас сейчас думают, будто я преувеличиваю роль святых, придаю слишком важное значение этим людям (ведь они все же стоят как бы в стороне от всех остальных) и напрасно сравниваю их с мирными служащими, тем более что вопреки всем административным традициям их продвижение вверх зависит не от стажа, а от заслуг, и, как мы видим, со скромной должности рядового сотрудника они могут вдруг переместиться на пост главного инспектора или директора, даже несмотря на то, что были бесцеремонно уволены, как, например, Жанна Д'Арк.

Но, думаю, на этом лучше прервать мои железнодорожные сравнения, хотя бы для того, чтобы не задеть довольно щепетильное, как правило, самолюбие духовных лиц, в частности — естественно — тех, кто оказал мне честь, придя меня послушать, и, должно быть, с беспокойством спрашивает себя, что же, собственно, входит в их обязанности в этой воображаемой транспортной компании: продажа билетов или охрана порядка на вокзалах?.. Мне бы хотелось, чтобы из всего сказанного вы запомнили только мысль о том, что Церковь — это действительно движение, си-

ла, устремленная вперед: ведь немало набожных людей верят или делают вид, будто верят, что Церковь — убежище, приют, своего рода духовная гостиница, из окон которой можно с удовольствием наблюдать, как месят уличную грязь прохожие — чужаки, не постояльцы. О, наверняка среди вас есть такие вот посторонние, и их глубоко возмущает самоуспокоенность посредственных христиан, напоминающая пресловутое самодовольство дураков — вероятно, потому, что это одно и то же… Боже, поверьте, я не питаю особых иллюзий насчет искренности некоторых неверующих, я не вникаю во все их претензии, зная, что многие из них пытаются нашей посредственностью оправдать свою собственную, только и всего. Но я не могу перестать любить их, я чувствую удивительное единство с этими людьми, еще не нашедшими того, что сам я получил незаслуженно, даже не прося; чем пользуюсь, так сказать, с колыбели, в силу некой привилегии, безвозмездность которой меня пугает.

Ибо я не пережил обращения и почти стыжусь в этом признаться, поскольку вот уже лет двадцать обращения в моде — возможно, потому, что новообращенные много, очень много говорят о том, как они обратились, подобно исцелившим-

ся, которые посвящают вас во все подробности своей болезни, мучают эликсирами и пилюлями. Стоит ли добавлять, что клерикалы проявляют особый интерес к этому разряду людей, и, конечно, их свидетельство имеет рекламное значение, как свидетельства тех господ, чьи фотографии публикуют на четвертой полосе газет. История религии — наверное, «история религии» звучит слишком претенциозно, скажем так: благочестивая хроника первой половины века полна литературных обращений. Одно из знаменитейших — обращение Поля Клоделя, описавшего все обстоятельства того памятного утра, когда, укрывшись за колонной собора Парижской Богоматери, он внезапно почувствовал таинственное сокровенное движение, духовный спазм, своего рода чихание души, положившее начало выдающейся карьере католического поэта, недавно увенчанной приемом во Французскую академию, меж тем как назначение на завидный пост в Вашингтоне стало знаком высшего признания на не менее почетном поприще государственного чиновника. Узнали мы и о других литературных обращениях, почти столь же громких, хотя часто не столь основательных, — например, обращение Кокто, удостоверенное подписью Жака Маритена

(литературное обращение может быть подписано, как шедевр мастера), или бедного Сакса[26] (за той же подписью): он дошел до семинарии, а его первая сутана была сшита в доме моды Paquin. Ну да ладно! Приношу извинения за то, что я позволил себе подшучивать над обращенными, но эти шутки не причинят им большого вреда, а упрекаю я их в том, что они плохо понимают тех, чьи заблуждения прежде разделяли; впрочем, это совершенно естественно, ведь обращенные чаще всего обращаются за счет кого-либо или чего-либо… Но такие христиане, как я или многие из вас, для кого католическая вера — стихия, вне которой они не могли бы жить, как рыба без воды, могут ли они, по-вашему, не чувствовать тревогу и нечто вроде стыда перед лицом своих собратьев, необъяснимо лишенных того, в чем сами они ни секунды не испытывали недостатка? Будь я, со своей стороны, новообращенным, напрасно

---

[26] Примечания: 26

Сакс Морис (1906–1945) — французский писатель. Был секретарем Ж. Кокто. Еврей по происхождению, обратился в католичество в 1925 г. Жизнь его представляла собой цепь скандалов и авантюр; из семинарии он был выдворен из-за гомосексуализма; отправившись в США, перешел в протестантизм; приехав в 1940-е гг. в Германию, под чужим именем служил секретным агентом Гестапо. В 1943 г. арестован, помещен в концлагерь (в одиночную камеру, где продолжал свои литературные труды); застрелен как «доходяга» во время эвакуации заключенных.

повторял бы я себе без конца, что не я нашел Бога, а Он меня нашел, — в таких рассуждениях черпают скорее ободрение, чем уверенность. Что касается меня, я не могу хвалиться тем, что я христианин, как не могу хвалиться тем, что правильно говорю на родном языке. Как же мне не чувствовать глубокой, серьезной ответственности перед теми, кому при освоении этого языка приходится прилагать усилия, чтобы позабыть свое собственное наречие, на котором они всегда говорили?

Да простят меня мои слушатели-христиане. Если есть между ними хотя бы один человек, не разделяющий нашу веру, именно к нему одному обращаюсь я сейчас. Я залился бы краской стыда, вообрази он, что мои слова идут из глубины — из пустоты — самоуверенности верующего, словно изнутри надежного, теплого убежища, что мне чужд его риск. Это неправда, нет, неправда, что вера гарантирует безопасность, по крайней мере, в человеческом смысле слова. О, несомненно, встречается на свете немало посредственных христиан, которым не надо ничего, кроме иллюзий, они уверены, что им обеспечена милость Божия, и относят на счет религии своего рода самодовольство, которое разделяют со всеми глупцами,

верующими и неверующими. Вера ничего общего не имеет с очевидностями, самая банальная из которых — «дважды два четыре». Мне понятно раздражение и даже возмущение неверующих по отношению к тем, кому они ложно приписывают подобного рода уверенность во всем, что касается мира невидимого, смерти и области потустороннего. Иногда гнев и возмущение уступают место зависти: «Счастливцы: вы веруете, — говорят они со странной наивностью. — А я не могу». Они и вправду стараются поверить, по крайней мере, стараются поверить, будто они веруют, и недоумевают, почему у них ничего не получается, как у человека, страдающего от бессонницы, который повторяет про себя, что вот-вот заснет, тем самым продолжая бодрствовать, поскольку сон всегда приходит внезапно. Кто ждет его, тот может быть уверен, что так и не увидит его прихода, ибо сон наступает неприметно. Они желают верить, стараются верить, силятся верить, будто верят, а между тем они не знают толком, во что верим мы, они готовы считать любое из чудесных приключений, рассказанных в Библии, не менее значимым, чем Святое Воплощение Слова, они изо всех сил заставляют себя поверить, что Ионе несколько дней служил жильем комфортабель-

ный кит, что переход через Красное море в самом деле выглядел так, как на знаменитой миниатюре, где евреи проходят меж двух высоких стен текущей воды, из-за которых это зрелище наблюдают рыбы, совсем как зеваки, глазеющие из окон на карнавальное шествие… Увы! Слишком много святош обоего пола, способных сбить с толку в этом вопросе доверчивых атеистов, и не только по невежеству или по глупости, но и из своего рода дурацкого тщеславия, которое побуждает иных верующих кичиться собственной верой. Новообращенные от литературы, о которых мы с вами говорили, склонны к подобному бахвальству, где находит удовлетворение гордыня.

Ясно, что человек неверующий может оставаться равнодушным, когда вы исповедуете перед ним свою убежденность в великих таинствах веры, непонятных ему и почти ничего не говорящих его воображению. Если, напротив, вы ничтоже сумняшеся заявляете, что закон всемирного тяготения был отменен, дабы остановить часы Иисуса Навина[27], он, возможно, примет вас за сумасшедшего и покрутит пальцем у виска, но тем не

[27] Примечания: 27

И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге Праведного: «стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день»? (Нав. 10,13).

менее сочтет, что вы занятный, интересный тип, оригинал. Однако ничего тут не поделаешь, это действительно так: христианин вовсе не обязан понимать буквально историю Ионы или Иисуса Навина. Заметьте, лично я охотно верил бы во все это и не желал бы для себя ничего иного, но чудеса не интересуют меня в том смысле, что они вряд ли кого-нибудь когда-нибудь обратили, и сам Господь наш потрудился сказать об этом в Евангелии, смеясь над теми, кто требовал от Него чудес. Слишком часто чудо, поражая разум, ожесточает сердце, поскольку воспринимается как своего рода грубый ультиматум, как насилие над способностью суждения и над сознанием, будучи фактом, который, по крайней мере на первый взгляд, нарушает порядок.

Я не могу распространяться далее на эту тему: мне приходится все же иметь в виду не только моих неверующих слушателей, которые, возможно, сейчас думают: вот и получили камушек в свой огород поборницы благочестия, и эта мысль не слишком их огорчает. И эти добрые души имеют полное право услышать наконец что-нибудь успокоительное, если мои шутки кажутся им крамольными. Я очень советую им перечитать

«Священную историю» Даниеля-Ропса[28], изданную в последние годы с разрешения Парижского архиепископства. Из нее им станет известно, к примеру, что есть основания предполагать, будто звуки труб были условным сигналом для предупреждения саперов о том, что они должны выйти из подземных ходов и поджечь деревянную обшивку, дабы стены рухнули, — ибо такова была в те времена техника саперов за неимением пороха.

По поводу перехода армии Иисуса Навина посуху через Иордан на уровне города Адама они прочтут также следующее: город Адам — это, вероятно, Телль-эд-Дамийе, в двадцати пяти километрах вверх по течению от Иерихона. Здесь река протекает между двух глинистых склонов пятнадцатиметровой высоты, легко образующих оползни. В 1927 году из-за небольшого землетрясения они обрушились и перегородили русло, так что течение реки остановилось на двадцать один час — таким образом в точности повторились обстоятельства, отразившиеся в Библии, которая повествует о землетрясении свойственным ей восточным языком: горы прыгали, как овны, и

[28] Примечания: 28

Даниель-Ропс (настоящее имя Анри Петио, 1901–1965) — историк и писатель, член Французской академии.

холмы, как агнцы[29]. Повторяю: книга Даниеля-Ропса издана с разрешения церковных властей.

Скажу еще раз, что меня эти вопросы ничуть не увлекают. Я охотно допустил бы, что евреи перешли, не замочив ног, не только Красное море, но и Атлантический океан, это неважно. Я только говорю, насколько мне тягостно думать, что честных людей могут удерживать вдали от Христа необоснованные и поистине беспредметные сомнения. Если бы Бог хотел привлечь нас к Себе чудесами, Он, конечно, не ограничился бы чудом в Кане или даже воскрешением Лазаря. Ему ничего не стоило бы добиться признания с помощью более грандиозных, космических чудес. Между тем рассказанное в Евангелиях о явлениях, которыми ознаменовалась смерть Спасителя: померкло солнце, раздралась надвое завеса в храме, земля потряслась — это сущие пустяки по сравнению с последствиями взрыва бомбы в Хиросиме. Но пойдем дальше, поразмыслим еще немного. Зачем Ему завоевывать нас заново, насилуя нашу волю чудесами? Уж если действовать принуждением, было бы куда проще никогда нас не терять, раз и навсегда приведя в

---

[29] Примечания: 29
См.: Пс. 114.

согласие волю человека с Божественной волей, по примеру планеты, вращающейся вокруг своего солнца. Дело в том, что Бог не пожелал снять с нас ответственность — я хочу сказать: сделать нас неспособными любить, ибо нет ответственности без свободы, а любовь — это свободный выбор, иначе она ничего не стоит.

Может показаться, будто я уклоняюсь от темы. Однако вы ошибаетесь, если так думаете. Материалистическое учение о мире не может объяснить нравственного человека. Но чтобы обосновать существование святых, недостаточно поставить силой воображения в начало и во главу мира верховное существо, верховный разум, бога-геометра. Вселенная хранит секрет, и разум мой в недоуменьи: не мог мудреный сей брегет без мастера прийти в движенье, — примерно так высказался Вольтер. Идиотские стишки, однако они возрадовали бесчисленные поколения каноников, преисполнившихся гордости при мысли, что теперь Господь Бог существует с позволения господина Вольтера, и премного довольных тем, какую замечательную шутку сыграл Бог со своим личным врагом («Раздавим гадину!»), воспользовавшись минутным замешательством господина Вольтера и заставив его подписать

документик о признании… Увы! Сочиняя эти вирши, господин Вольтер совсем забыл о святых, и каноники, почтительно его цитируя при распределении наград, должно быть, тоже о них не вспоминали… На кой черт — вот где это выражение вполне уместно! — часовщику святые? Нет вещи менее свободной, чем часы, — ведь в них все шестеренки находятся в теснейшей взаимной зависимости. Возможно, вы мне ответите, что материальный мир в немалой степени являет собой пример точной механики. Но уверены ли вы, что не принимаете знак за означаемый объект, подобно тому, как существо, чей разум совершенно отличен от нашего, ничего не ведая о языке и письме, восторгалось бы ритмом голосов, симметрией печатной страницы и старалось бы вывести законы того и другого, не догадываясь о главном — и единственно важном: о мысли — мысли, вечно живой и свободной, вопреки внешней несвободе выражающих ее букв или звуков. Что, если Жизнь — свободная мысль этого, казалось бы, детерминированного мира? Жизнь, то есть таинственная нематериальная энергия, к которой современная физика сводит саму материю.

Мир материалистов не имеет ничего общего

с нравственным человеком. В мире деистов, таких как автор «Генриады»[30], нет места святым — святой в этом мире был бы так же неуместен, как лирический поэт в Высшей школе строительства дорог и мостов… Могу ли я продолжать наш разговор о святых и о святости, не напомнив или не открыв вам, что для нас, христиан, Бог есть Любовь, Творение есть акт любви. Я говорю так не потому, что намерен вас убедить, просто прошу вас на мгновение принять вместе со мной эту гипотезу, иначе наш разговор напрасен. О, знаю, знаю: вам сразу придет на память не смолкающий ни днем ни ночью стон вселенского страдания. Вы вспомните стихи Бодлера:

Поистине, Господь, вот за Твои созданья
Порука верная от царственных людей:
Сии горящие, немолчные рыданья
Веков, дробящихся у вечности Твоей![31]

Но поразмыслите: вы обличаете жестокость этого мира во имя Разума и Справедливости, а

---

[30] Примечания: 30
То есть Вольтер.

[31] Примечания: 31
Перевод Вяч. Иванова.

этот путь, как показывает долгий опыт, может привести только к бунту, отчаянию или абсолютному отрицанию. Мы и вправду созданы по образу и подобию Божию. Мы подобны Ему даже больше, чем осмеливаемся подумать, чем позволяют нам думать философы. «Сотворен по образу и подобию Божию» — это выражение так таинственно и страшно, но оно постепенно потеряло смысл от частого повторения, словно стершаяся монетка, прошедшая через множество рук! Все же я хотел бы, чтобы вы на минуту вдумались в эти слова. Многие ли из нас, христиан, действительно осознают, что мы — образ и подобие Божие? Кого заботит реальный смысл этих удивительных слов? Если они правдивы, значит, не наблюдение вещей откроет нам суть мира: его секрет — в нас самих, в сокровенных глубинах нашего существа, куда мы, очевидно, никогда не заглядываем. Знаю, такая гипотеза дуракам покажется смешной. Но пресловутое самодовольство дураков идет именно от того, что они живут в двухмерном пространстве, с третьим измерением они знакомы так же, как мы с четвертым — понаслышке… Разгадка мира в нас, почему бы и нет? Разве не такова обычная судьба людей: они очень далеко и часто с риском для

жизни ищут то, что лежит у них под рукой, хотя это им невдомек. Мы надеемся найти разгадку лишь путем опытного наблюдения вещей. Но в этих поисках наука не сотрудничает с природой, а противостоит ей. Она ищет лишь собственной выгоды, стремясь присвоить львиную долю колоссальных энергетических ресурсов вселенной — для человечества это предприятие должно кончиться тем, что его расплющит между наукой и природой, как между молотом и наковальней, ибо если плоть человека хрупка, его нервная система, еще более хрупкая, рано или поздно не выдержит бесконечно нарастающего напряжения жизни, в которой нормальная активность возрастает за счет использования механизмов в десять, в сто раз. Механика даст вам свободное время, учат идиотов.

Мало того, что по мере умножения механизмов свободного времени у людей становится все меньше и меньше. В машинном раю досуг станет утомительнее, чем работа, и отдых от свободного времени будут искать в работе. Да что там! Когда я говорю, что все усилия разума приведут лишь ко все большему вовлечению человечества в предприятие, где всевозможный риск будет постоянно расти и наконец станет несоизмерим

с ожидаемой выгодой (разве уже теперь, как недавно заметил Эйнштейн, не грозит нам опасность взрыва планеты или отравления земной атмосферы смертоносной радиацией?), отсюда вовсе не следует, будто я презираю разум. Если мы вправду созданы по образу Божию, как можем мы презирать одну из высших способностей человека? Вы ответите, что, хотя я не презираю разум, я только что объявил его бессильным. Нет. Не бессильным. Не бессильным, когда речь идет об извлечении пользы из творения, но не способным проникнуть в его смысл, понять его, в точном значении этого слова. Если творение есть дело одного только разума, человеческий разум мог бы достичь большего, а не только открыть некоторые законы творения с целью использовать это знание — так, как используют механику. Он не был бы всегда готов осуждать творение во имя логики или справедливости. Потому что творение есть дело любви. Разум, ограниченный своими собственными силами, думает найти в природе лишь жестокость и безразличие, но он открывает в ней свою собственную жестокость. В сущности, он осуждает не страдание, а то, что кажется ему аномалией, проявлением расточительства, недостатком организации. Разум более

жесток, чем природа. Мы начинаем понимать, например, что общество, устройством которого ведает разум или, по крайней мере, деградировавшая форма разума, называемая техникой, будет беспощадно не только к тем из его членов, которые навлекут на себя подозрение в том, что они производят меньше, чем потребляют, но и ко всем, чьи мысли расходятся с чудовищным коллективным сознанием… Да, если говорить только о больных, то природа позволяет выживать миллионам, а завтра они наверняка станут жертвами техников, ответственных за поддержание и постоянный рост прибыли колоссального мирового производства. В действительности разум не возмущается страданием, он его отвергает, как отвергает плохо построенный силлогизм, не исключая для себя возможности воспользоваться им по-своему после того, как силлогизм будет исправлен. Кто говорит о Страдании как о недопустимом нарушении порядка или даже как об абсурдности в чистом виде, тот уверен, что дураки его одобрят. Но на горстку искренних бунтарей сколько приходится других — тех, кто в бунте против страдания более или менее скрыто ищет оправдания своему равнодушию и эгоизму по отношению к страждущим. А если

не так, каким чудом почти всегда именно те, кто, не отдавая себе в том отчета, смиреннее всех приемлет вечный позор страдания и горя, с наибольшей любовью отдают себя страждущим и убогим: святой Франциск Ассизский, святой Винсент де Поль?

Не страдание, а свобода — вот что в действительности возмущает мир. Бог наделил свое создание свободой — вот главный соблазн и первопричина всех других соблазнов. Понимаю: похоже, мы углубились в метафизику. Но что тут поделаешь? Если для некоторых из вас непонятно то, что я говорю, значит, я просто плохо объясняюсь, вот и все. А впрочем, зачем что-то объяснять? Вот сейчас где-то в этом мире, в затерянной церквушке или в доме, а может, на развилке пустынной дороги, некий бедный человек, сложив ладони, сам не зная толком, что он говорит, или просто без слов из глубины своего страдания благодарит Господа Бога за то, что создан свободным, способным любить. Где-то, не знаю где, мать возле тела мертвого ребенка возносит к Богу стон изнемогающего смирения, словно услышав, что Голос, запустивший в пространство светила, как рука бросает семена, Голос, от которого содрогаются миры, шепнул ей

на ухо: «Прости меня. Однажды ты узнаешь, ты поймешь, ты будешь благодарить. Но теперь я жду от тебя одного: прощения. Прости». Эти люди: измученная женщина, несчастный мужчина — в сердце сокровенного, в сердцевине сотворенного мира и самой тайны Бога. Что сказать вам об этом? Язык служит разуму. А то, что поняли эти люди, понято ими благодаря способности, которая выше разума, хотя нисколько ему не противоречит, — вернее, благодаря глубинному, властному движению души, собравшему воедино все способности, вобравшему в себя безраздельно все их существо… Да, в то мгновение, когда этот мужчина, эта женщина приняли свою судьбу, приняли самих себя со смирением, тогда воплотилась в них тайна Творения; безотчетно приняв весь риск своего человеческого поведения, они полностью осуществили себя в милосердии Христовом и каждый из них, по слову апостола Павла, сам стал Христом. Короче говоря, то были святые.

Полностью отдать себя… Как вы знаете, в жизни большинство из нас затрачивает лишь незначительную, совсем небольшую, до смешного малую часть самих себя, как богатые скряги былых времен, о которых говорили, будто они тратят

только проценты с прибыли. Святой живет не процентами с прибыли, ни даже просто прибылью, он вкладывает весь капитал, полностью отдает свою душу. Этим, кстати, он отличается от мудреца, который цедит свою мудрость, подобно улитке, создающей раковину, и обретает в ней убежище. Вкладывать душу! Нет, это не просто литературный образ. Не нужно заходить слишком далеко, чтобы этот образ получил мрачный смысл. Известный профессор Женевского университета господин Гиено в своей недавней книге «Проблемы жизни» вновь обращается к различию между телом, духом и душой. Приняв гипотезу, которую не отвергает святой Фома, мы со страхом осознаем, что бесчисленное множество людей рождаются, живут и умирают, так и не воспользовавшись ни разу своей душой, не воспользовавшись ею по-настоящему, хотя бы для того, чтобы оскорбить Бога. Как возможно отличить этих несчастных? В какой мере мы сами не относимся к этому разряду людей? Не заключается ли Осуждение в том, что мы поздно — слишком поздно, уже после смерти — открываем в себе абсолютно нетронутую душу, все еще аккуратно сложенную вчетверо и истлевшую, как некоторые драгоценные шелковые ткани,

из-за того, что она осталась без употребления. Любой, кто использует свою душу — пусть даже неловко, тут же становится участником вселенской жизни, вовлекается в ее грандиозный ритм, непосредственно вступает тем самым в общение святых, то есть общение всех людей доброй воли, которым был обещан Мир, в невидимую святую Церковь, к которой, как мы знаем, причислены и язычники, еретики, раскольники и неверующие, чьи имена известны одному Богу.

Общение святых… Кто из нас уверен, что участвует в нем? А если он имеет такое счастье, какую роль он в нем играет? Кто такие богатые и бедные в этом удивительном сообществе? Кто здесь дающие, кто получающие? Сколько неожиданностей! К примеру, благочестиво скончавшийся почтенный каноник, удостоенный в «Епархиальном бюллетене» пышного некролога в стиле, свойственном подобным публикациям, — не рискует ли он узнать, что обязан своим призванием и спасением одному явному атеисту, тайно мучимому религиозной тревогой, которому Бог необъяснимо отказал в утешениях веры, не лишив его, однако, заслуг веры (ты не искал бы Меня, если бы уже не нашел)? Казалось бы, нет ничего лучше отрегулированного, более четко

упорядоченного, иерархически выстроенного, уравновешенного, чем внешняя жизнь Церкви. Но внутренняя ее жизнь исполнена проявлений чудесной свободы, хотелось бы даже сказать: божественной экстравагантности Духа — Духа, который дышит где хочет. Если представить себе строгую дисциплину, сурово удерживающую каждого члена огромного тела Церкви, начиная от скромного викария и кончая Святейшим Папой, на назначенном ему месте, со своими привилегиями, званиями, можно сказать, со своим особым словарем, — и правда ведь выглядят экстравагантными внезапные, иногда совсем неожиданные выдвижения неизвестных монахинь, простых мирян, даже нищих, которые вдруг делаются заступниками, покровителями, а порой и учителями Вселенской церкви?

О, речь не идет о противопоставлении Церкви видимой и невидимой; видимая Церковь, что тут поделаешь, — это не только церковная иерархия, это и вы, и я, так что не всегда она приятна, а иногда бывала и весьма неприятна при ближайшем рассмотрении, например в XV веке, во времена Базельского собора, и в подобных случаях у нас, естественно, возникает искушение сожалеть, что не она является невидимой. Да, мы сожалеем, что

кардинала легко узнать издалека по его прекрасной алой мантии, тогда как святой при жизни не выделяется никакими деталями одежды… Я знаю: то, что здесь воспринимается как шутка, для многих — мысль, порой доставляющая муки. Мы не правы, рассуждая, будто Церковь видимая и невидимая — это в действительности две Церкви: ведь видимая Церковь есть лишь доступная нашему зрению часть невидимой Церкви, и эта видимая часть невидимой Церкви меняется в зависимости от каждого из нас. Ибо нам тем лучше известно то человеческое, что в ней есть, чем менее мы достойны знать то, что в ней является Божественным. Иначе как объясните вы такую странность: как раз те, кто больше всех имеет право возмущаться недостатками, искажениями, даже уродствами видимой Церкви, — я имею в виду святых, — никогда на это не жалуются? Да, видимая Церковь — это та часть невидимой Церкви, которую каждый из нас может видеть, соответственно своим заслугам и по благодати Божией. Легко сказать: «Я предпочел бы видеть нечто иное вместо того, что вижу». О, конечно, если бы мир был шедевром архитектора, озабоченного симметрией, или профессора логики, одним словом, Бога деистов, тогда Церковь являла

бы собой образец безупречного порядка, святость в ней была бы первой привилегией начальства, а каждая ступень в иерархии соответствовала бы более высокой степени святости, и так до того, кто всех святее, — разумеется, Святейшего Папы. Полноте! Вы хотели бы такую вот Церковь? Разве вам было бы в ней хорошо? С вашего позволения, меня разбирает смех! Какое уж тут «хорошо» — вы топтались бы на пороге этой Конгрегации сверхчеловеков, теребя в руках картуз, как бедняга клошар у дверей отеля «Ритц» или «Кларидж». Церковь — семейный дом, отчий дом, а в таких домах всегда бывает беспорядок, там попадаются стулья, потерявшие одну из ножек, столы закапаны чернилами, банки с вареньем в буфете опустошаются сами собой — все это я знаю на собственном опыте…

Дом Божий — это обиталище людей, а не сверхчеловеков. Христиане — не супермены. А святые тем более не сверхлюди, ведь они самые человечные из людей. Святые лишены возвышенности, они в ней не нуждаются, скорее, возвышенное нуждается в них. Святые — не герои в отличие от героев Плутарха. Герой создает у нас обманчивое впечатление, будто он превосходит человеческую сущность; святой ее не превосходит, он

несет ее бремя, старается как можно лучше ее воплотить, — вы понимаете разницу? Он старается приблизиться, насколько возможно, к своему образцу — Иисусу Христу, то есть к Тому, Кто был истинным человеком с совершенной простотой, способной смутить героя и ободрить всех прочих, ибо Христос умер не только за героев, он умер и за трусов. Если об этом забывают его друзья, то враги не забывают. Вы знаете, что нацисты всегда противопоставляли Святой агонии Христа в Гефсиманском саду радостную гибель многих молодых героев-гитлеровцев. Суть в том, что Христос, желая открыть мученикам славный путь бесстрашной кончины, хочет также каждому из нас предшествовать во мраке смертной тоски. При последнем шаге твердая, бестрепетная рука может опереться на Его плечо, а рука дрожащая без всяких сомнений найдет Его руку, протянутую навстречу…

Мне хотелось бы закончить мыслью, которая не оставляла меня во время этой беседы, как нить ткача, бегущая сквозь основу. Люди, которым так трудно понять нашу веру, имеют слишком несовершенное представление о высоком достоинстве человека в творении, они не ставят его на присущее ему место, на то место, до которого

Бог возвысил человека и куда Сам Он смог снизойти. Мы созданы по образу и подобию Бога, потому что мы способны любить. Святые обладают талантом любви. О! Заметьте, этот талант не таков, как, например, талант художника, составляющий привилегию немногих. Точнее говоря, святой — это человек, умеющий найти в себе, исторгнуть из глубины своего существа ту воду, о которой Христос говорил самаритянке: пьющий ее «не будет жаждать вовек…»[32] В каждом из нас есть эта вода: глубокий, открытый небу колодец. Поверхность его, вероятно, замусорена, усеяна обломками ветвей, сухими листьями, и от них порой поднимается запах смерти. Холодное суровое мерцание над ней — свет склонного к резонерству рассудка. Но прямо под этим тлетворным слоем — вода, она так прозрачна и чиста! Чуть глубже — и душа погружается в родную стихию, бесконечно превосходящую чистотой самую чистую воду, в свет нетварный, омывающий все творение, — в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, — in ipso vita erat et vita erat lux hominum[33].

---

[32] Примечания: 32
Ин. 4, 14.

[33] Примечания: 33
См.: Ин. 1, 4.

Вера, как жалуются иные из вас, им неведомая, живет в них, наполняет их внутреннюю жизнь, она и есть та внутренняя жизнь, благодаря которой любой человек, богатый или бедный, невежда или ученый, может вступить в общение с Божественным, то есть со вселенской любовью, а все творение целиком есть не что иное, как ее неистощимое фонтанирование. Та внутренняя жизнь, заговор против которой воплощает наша бесчеловечная цивилизация с ее безумной деятельностью, бешеной гонкой за развлечениями и отвратительной растратой деградировавших форм духовной энергии, что приводит к рассеиванию самой субстанции человечности.

В ходе нашей беседы я говорил вам, что соблазн, связанный с творением, — это не страдание, а свобода. Я мог бы сказать также: Любовь. Если бы слова сохраняли смысл, я сказал бы, что Творение — это трагедия Любви. Моралисты чаще всего рассматривают святость как некую роскошь. Святость — это насущная необходимость. До поры, пока милосердие не слишком охладело в мире, пока в нем не переводились святые, некоторые истины могли быть забыты. Сегодня они обнажились вновь, как скалы в часы отлива. Именно святость, именно святые поддерживают ту внутреннюю жизнь, без которой человечество деградирует и в конце концов погибнет. В самом деле, именно в собственной внутренней жизни человек обретает необходимые ресурсы, чтобы избежать варварства или опасности худшей, чем варварство, — скотского закабаления в тоталитарном муравейнике. О, по всей вероятности, можно подумать, что сейчас уже не время святых, что пора святых миновала. Но как я уже писал, для святых подходят все времена.

Перевод Н. В. Кисловой

Приложение
Признание слушателям…

…ИЗ БЕЛЬГИИ

Немало лет тому назад — весной 1927 года — я впервые прибыл в Брюссель, и до сих пор не могу позабыть тот прием, который вы устроили мне, писателю, чье «Солнце Сатаны» только показалось из сумерек (или, скорее, из полного мрака). О! Не стану умиляться по поводу прошлого, я не настолько для этого стар; не собираюсь ронять слезу с вами вместе, ибо вы заслужили нечто большее, чем банальное умиление, — тем более что величайшее преимущество вашей страны в данный исторический момент заключается именно в том, что вы, как никто, укоренены в настоящем, вы полностью принадлежите ему и стоите в нем в полный рост. Так что все, что вы можете ожидать от меня сегодня, — это простая, искренняя, строгая благодарность. Вот же она.

Дамы и господа, может статься, вам достанет снисходительности счесть — смею на это надеяться, — что я нашел нужный тон, тот, который

вы ожидали от моих слов благодарности за двадцатилетнюю дружбу и преданность. Быть может, я сейчас рискую гораздо сильнее, пытаясь выразить те чувства, что одолевали меня по мере путешествия по городам Бельгии. Но и по этому поводу мне не хотелось бы произносить трескучих фраз; не хочу выглядеть комично и не стану вам вещать вслед за многочисленными болванами, как меня поразили ваши залитые светом магазины и их витрины. Ваши известные всему миру города излучают не то ощущение безопасности, которое я испытал в некоторых других избежавших разрушений странах Европы — таких, как Швейцария; надеюсь, что мой дорогой Беген[34] не осудит меня за эти слова; — не то напускное процветание, столь же эфемерное, что и красота кокетки, которую она пытается сохранить как можно дольше с помощью различных косметических процедур. Вы и города ваши источаете веру народа, который полностью принадлежит настоящему и стоит в нем в полный рост; народа, который сделал ставку на настоящее и на свой шанс в настоящем; он таким образом

[34] Примечания: 34

Беген Альбер (1901–1957) — швейцарский литературовед, профессор Базельского университета, первый редактор материалов данного сборника (см. Предисловие).

подгоняет свою фортуну, как прежде подгонял свои невзгоды. Мне хорошо известно, что надо бы выразиться проще; я постараюсь облечь свою мысль в самые что ни на есть простые слова. Мне хочется вам поведать о том, что вы, впрочем, знаете лучше меня; ваше процветание ни в чем не может вызвать желчную зависть со стороны француза и кого угодно из числа людей, приверженных традиции и испытывающих ощущение духовной солидарности, присущее великим западным версиям христианства. В вас была вера, и вера эта в себя самих была вознаграждена, ибо она являлась также верой в Европу, в неисчерпаемые, вечно живые ценности Европы — верой в европейца. Как неоднократно говорится в Евангелии, вам воздастся по вашей вере. Ваше нынешнее величие — а ведь величие скорее ощущается, нежели измеряется — не статистическое понятие; статистика не позволит познать вашу тайну, ну разве что чуть приоткроет ее. Так вот, ваше нынешнее величие неотделимо от вашей веры, а потому оно не способно кого бы то ни было унизить; оно принадлежит всем, как и любой другой значимый урок истории.

Говоря все это, я вовсе не имею в виду принизить перед вами мою страну, чье положение

сильно отлично от вашего. Моя страна не нуждается во лжи; моя страна выдержит сколь угодно тяжелую истину; ей под силу, не сгибаясь, вынести груз любой истины. Если вы позволите мне прибегнуть к этому образу, она выживет под постоянным и равномерным гнетом любых истин, подобно тому, как все мы живем под определенным атмосферным давлением. Но моя страна задохнется, если под предлогом исцеления изъять ее из-под этого гнета (который и составляет ее духовную традицию) и перенести в разреженный воздух. Если вдруг — предположим невозможное — завтра Франции суждено погибнуть, то падет она не под тяжестью своей исторической ответственности, но оттого, что не стала взваливать на себя эту ответственность.

Я прибыл сюда, чтобы побеседовать с вами на тему «Франция в ожидании завтрашнего дня». По крайней мере, название это указано в программе, но необходимо также понять, что скрывается за названиями. Бесполезно и опасно доверять названию любого доклада, его содержанию, а также и самому докладчику. Видите ли, всякий доклад представляет собой процесс соблазнения, вот почему, кстати, я по ходу доклада всегда ощущаю себя немного не в своей тарелке. Есть в названии

доклада кое-что родственное тем невинным и вместе с тем дидактическим прогулкам по музеям, которые господа предлагают своим дамам и которые частенько заканчиваются в местах, насколько мне известно, не совсем строгих. Богу было угодно, чтобы я тоже увел вас с помощью нашей нехитрой беседы намного дальше, чем вы себе воображали, и даже туда, куда вы и не имели желания отправиться.

...ИЗ ЖЕНЕВЫ

Мне бы хотелось сразу предупредить, хотя вы уже, разумеется, догадались об этом: то, что вы услышите, не заслуживает названия доклада — по крайней мере, в том значении, которое обыкновенно вкладывается в это слово. Вероятно, это объясняется тем, что я сомневаюсь, являюсь ли настоящим докладчиком. Возможно, вы скоро усомнитесь в этом так же, как и я. Лектор прежде всего должен быть очаровательным мужчиной. По крайней мере, мне представляется именно так, ибо я редко бываю на чужих докладах — с меня довольно моих собственных. Конечно, я не запрещаю вам считать меня очаровательным, но боюсь, вы сочтете меня таковым только после долгих размышлений (в лучшем случае, конеч-

но), хотя для меня это уже будет слишком поздно. К тому времени уже и след мой простынет. Вы пожалеете о моем уходе, но я об этом уже не узнаю.

Лекторы не только очаровательны, они чаровники, все равно как заклинатели змей. Но не змей они заклинают, а мысли. Лекторы располагаются за таким вот столом, в максимально удобной позе, достают свою маленькую дудочку, начинают дуть в нее, и мысли рождаются на свет одна за другой, подобно змеям из кожаного баула заклинателя. Когда же флейта замолкает, мысли послушно заползают обратно в коробочку, ибо речь идет об отменно выдрессированных мыслях, которые не способны нанести кому-либо вред.

Ну а я — не повелитель мыслей, которые я высказываю; это они командуют мною, я нахожусь у них в подчинении, а не они у меня. Добавлю, что я нисколько не считаю их безопасными. И вполне возможно, что они вас ранят. В этом случае скажите себе, что прежде того они уже ранили меня самого, я никогда не умел играть с ними. С истиной не шутят, как и с огнем; и можно поставить в заслугу тому, кто служит правде, что, несмотря на все принятые меры предосторожности, он время от времени чувствует ее укусы. Мне думается, что я, слава богу, не слишком часто

отказывался служить истине; и все же никак не могу похвалиться тем, что всегда служил ей беззаветно. Я частенько отдавал предпочтение менее сложным вещам. Так, например, я предпочел бы в этот ясный солнечный день поговорить с вами на более приятные темы; перед тем, как мы расстанемся, мне бы хотелось погрузить вас в состояние блаженного покоя, вызвать у вас улыбку и даже смех. Ах! Знали бы вы, что значит для лектора (у которого безмолвие слушателей вызывает ощущение, будто он бредет по своей лекции как по бесплодной пустыне — пустыне скуки) то восхитительное перешептывание аудитории, которое в стенограммах заседаний обыкновенно отмечается как «смешки». Смешки во множественном числе, естественно.

Да, мне бы хотелось почаще вызывать у вас смех. Но полно! Прошу извинить меня за те усилия, которых я от вас требую. Кто-нибудь более сноровистый принудил бы вас к смеху без предупреждения; но увы, сноровкой я тоже не отличаюсь. Я, как вам известно, романист, прекративший писать романы (то есть заниматься своим любимым делом), дабы попытаться выговорить то, что другие на моем месте, вероятно, выговорили бы лучше (если бы им хватило на

это смелости). Но эти люди предпочитают становиться министрами, академиками, а может, даже архиепископами. И с этого момента они превращаются в оптимистов. Я вовсе не стремлюсь стать министром или академиком. Возможно, я не вызову удивления у некоторых из вас, если поведаю вам, что отказался от академических лавров; но вы, несомненно, гораздо сильнее удивитесь, если я скажу, что меня хотели сделать министром — ведь, что ни говори, а для этого я не вышел породой… Что же касается архиепископа — тут и говорить не о чем, ведь об этом меня не просили никогда.

…ИЗ ПОРРАНТРЮИ

Прежде чем начать эту лекцию, я испытываю нечто вроде потребности попросить прощения перед каждым из вас. По пути из Невшателя из окна поезда я наблюдал пейзаж, для вас чересчур привычный, чтобы вы его прочувствовали наравне с чужаком — которому он чудесным образом открывается совершенно внезапно, во всей его грандиозности, чистоте и величии. Двигаясь между гор, на которые опускались сумерки, я чувствовал, что словно бы устремляюсь в обитель покоя, безопасности и безмятежности, в

надежное убежище; я спрашивал себя, не стоило ли мне отправиться в какое-то другое место, дабы не нарушить вашего спокойствия. Но вы и сами знаете — никаких надежных убежищ в мире более не существует. Мир наш более никого не защищает, не гарантирует никому безопасности; он уже не охраняет никого, да что там говорить — он и сам нуждается в защите, именно его-то мы и должны спасать. О, не отвергайте заранее те немногочисленные истины, что мне хотелось бы до вас донести, ибо мне чрезвычайно больно — вы даже не можете вообразить себе, до какой степени больно, — говорить с вами на том языке, который вам покажется, быть может, слишком жестким.

Я люблю жизнь как никто из вас. Я жажду счастья. Точнее, я бы жаждал иллюзии счастья, если бы человек, достойный такого звания, мог оставаться бесчувственным к ужасающим бедствиям, выпавшим на долю человечества. Увы, я прекрасно знаю, что я, скажем так, по-предательски вторгаюсь к вам в момент завершения семейной трапезы, когда все собрались за стол при свете лампы в этом незабываемом вечернем умиротворении, которым испокон веков наслаждались встарь ваши отцы. Если вы останетесь

глухи к услышанному — я говорю впустую. Если я не говорю впустую, я смогу затронуть ваши сердца, а может быть, и ваше пищеварение. Умелый лектор всегда стремится продержать своих слушателей в приятной истоме, которая улучшает работу желудка и способствует здоровому ночному сну. Те из вас, кто оказал мне честь, прочитав мои книги, знают, что я всегда стремился пробудить спящих и не дать заснуть бодрствующим. Работенка эта не приносит ни солидных барышей, ни больших почестей, зато перекрывает вам доступ к другим профессиям. Ну и ладно! Я хотел бы предупредить вас об опасностях, которые вам угрожают и которые угрожают всем нам. У меня нет способов их предотвратить, но я могу предвидеть их. Тот, кто предвидит зло, не обязательно его предотвращает, но, по крайней мере, выходит на схватку с ним с открытым забралом, так что зло уже не в состоянии стыдливо атаковать со спины. Умереть обмишуленным хуже, чем просто умереть.

Мне кажется, я в силах вам помочь, и мы все можем друг другу помочь не быть обмишуленными — или хотя бы уменьшить такую возможность.

...ИЗ БИЛЯ

Когда я созерцаю собравшуюся вокруг меня аудиторию, подобную вашей, я чувствую себя намного более взволнованным — то есть гораздо острее осознаю свой долг по отношению к тем, кто прибыл послушать меня, — нежели выступая перед публикой больших городов (не всегда многочисленной, но подчас слегка снобистской).

Мы здесь собрались в домашней обстановке, словно бы под светом лампы в зимний вечер; каждый из вас провел насыщенный день, выполнил свои обязанности; я тоже сделал то, что собирался сделать. Когда поезд вез меня из Цюриха в Биль, я был полностью погружен в думы о вас и о том, о чем я буду разговаривать с вами в этот вечер; мысли, которые меня посещали, я методично записывал в тетрадку, которую вы видите на моем портфеле. Портфель лежал у меня на коленях; записывая, мне приходилось постоянно бороться с тряской и избегать толчков со стороны торопящихся к выходу пассажиров.

Этот день не прошел для нас впустую. Теперь нужно, чтобы и этот вечер не прошел впустую; поработаем сообща. Польза литературного доклада обыкновенно заключается в том, чтобы в

течение часа держать аудиторию в эйфории и полуистоме, которая способствует пищеварению и обеспечивает глубокий сон. Но этот доклад не имеет отношения к литературе. Никогда еще я не испытывал так мало желания заводить о ней речь. Те немногочисленные истины, которые мне хотелось бы попытаться вам сообщить, не принадлежат к тем мыслям, что приводят в забытье или же успокаивают. Я собираюсь излагать вам их в лицо, глаза в глаза, подобно тому, как обсуждают семейные радости и горести или размышляют о будущем детей. Мы так близки друг к другу, что не можем ничего друг от друга скрыть. Вы живете здесь в спокойствии, в мире, созданном многовековым трудом ваших предков и благословленном ими; я прибыл сюда в тот момент, когда этой чудесной долины едва коснулись незабываемые краски умиротворяющего вечера. Мне кажется, я испытываю какую-то неловкость и даже что-то вроде стыда — ведь я прибыл издалека, дабы поведать вам об опасности, которая угрожает ныне всей цивилизации; но я отнюдь не прошу вас впадать в панику, а призываю вас спокойно поразмышлять со мной. Ваша уединенность, умиротворенность ваших пейзажей способствуют рефлексии. И многие из

вас, вне всяких сомнений, часто задумываются об убогом состоянии мира; ведь вы — народ здоровый и сильный.

Когда я говорю, что миру грозит опасность, то это не вполне точное выражение. Угроза не то чтобы направлена против цивилизации — она заключена в ней самой. В нашей цивилизации заключен принцип, как бы зародыш смерти; на нас лежит обязанность остановить его развитие, если мы не хотим погибнуть вместе с этой цивилизацией.

Еще вчера вечером я развивал эти мысли — или, скорее, выражал и аргументировал их максимально убедительно — в большом зале вашей замечательной Цюрихской политехнической школы. Наверное, это могло показаться немного самонадеянным — столь дерзко ставить под сомнение техническую цивилизацию пред теми, кто учится в Политехнической школе… Но тем из вас, кто почтил меня, прочитав мои книги, известно, что я не робкого десятка. Мыслить для меня — не тяжкий труд, но и не развлечение; это риск. Вот я и рисковал в Цюрихе, как делал это в других местах, как делаю это нынче вечером перед вами. И хотя было неосторожно осуждать технику в Политехнической школе, но не думаю,

что стану выглядеть более осмотрительным, если заведу речь (а таковы мои планы) о современном мире в том самом городе, который уже продемонстрировал и демонстрирует каждый день пример всего того, что современная техника может сделать для развития промышленности. Но это уже проблема терминологии. Я полагаю, что в наше время швейцарский народ, возможно, как никакой другой, способен воспринять те истины, которые почти невозможно озвучить в других странах; ибо, оставшись последним бастионом цивилизованной Европы на разрушенном войной континенте, ваша страна не сможет пренебречь некоторыми исключительно важными человеческими ценностями, которые она сумела спасти от разрушения.

…Я не из тех, за кем закрепилась репутация мягкого по отношению к другим человека. Правда, хоть я и строг по отношению к другим, но и себя самого не особенно щажу; думаю, вы должны будете согласиться с этим. Обращаясь к вам, я отдаю себе отчет в том, что требую от вас определенного усилия. Я спрашиваю себя, уж извините: да способны ли вы вообще-то на подобное усилие — или же вы ограничитесь выражением своего одобрения и аплодисментами? Одобрение или

даже аплодисменты очень часто оказываются способом уклониться от более серьезных обязательств, чем-то вроде куртуазного приветствия в адрес знакомых мельком мыслей, которые, быть может, вдруг всплывают в памяти; их облик вроде бы симпатичен вам, но не настолько, чтобы возникло желание быть им представленными; скорее наоборот, при встрече с ними возникает желание потихоньку перейти на другую сторону улицы. Дабы завершить эту тему, скажу, что для меня недостаточно только лишь заслужить ваше одобрение, мне бы хотелось попробовать вас убедить. Да! Разумеется, я не претендую на то, чтобы убедить вас нынче вечером, я ведь не волшебник, по крайней мере, не пытался быть им до сего момента. Мне бы хватило — и это уже было бы пределом мечтаний, — если бы вы прихватили нынче вечером из этого зала малую толику мыслей и образов, которым обыкновенно не уделяется значительного внимания и которые вроде бы скоро забываются; но на самом деле они продолжают существовать в глубине памяти наших чувств, а может статься, и еще глубже, дабы выпорхнуть однажды при счастливом стечении обстоятельств и заполнить собою все пространство души.

...ИЗ УНИВЕРСИТЕТСКОГО САНАТОРИЯ ЛЕЙЗЕНА

.. Всякий раз, когда я на протяжении двух последних недель переделывал текст этой лекции — а ведь я неустанно разбирал и собирал ее заново, поскольку настоящий писатель никогда не устает разбирать и собирать заново свои сочинения точно так же, как Человек с большой буквы призван собирать и разбирать свою жизнь, чтобы собирать и разбирать вновь и вновь, никогда не испытывая усталости, вплоть до того самого дня, когда его ждет не вечный покой, но заключительное препятствие, нуждающееся в преодолении, а за ним следуют зеленый свет, свободный путь, безудержная устремленность вперед и чудесное вознесение, — так вот, всякий раз, когда мне приходилось зачеркивать одну из страниц, которыми набит теперь вот этот министерского вида портфель, я думал о вас. Думал прежде всего потому, что именно вы и являлись последним этапом этого путешествия и, так сказать, моим последним шансом. В общем, вы были арбитрами в этом скромном споре, и приговор ваш обжалованию не подлежит... Но прежде всего я думал о вас потому, что из всех

молодых людей, которые в знак расположения ко мне придут послушать мои лекции, именно вы являетесь теми слушателями, кого мне более всего хотелось бы убедить, вы — те, кого мне не хотелось бы упустить. Мне известно, что среди вас есть и такие, кто слушает меня, лежа в постели; но лежите вы или сидите — вы все равно относитесь к категории прямоходящих. Вы — те, кто не смирился, кто не капитулировал, кто проявляет упрямство и держит удар; те, кто завтра станут теми, кем они хотели стать, и таким образом вся жизнь их окажется обусловлена победой. Позвольте мимоходом заметить вам следующее: один из моих сыновей, записавшийся в 1941 году в Королевские ВВС Великобритании, нынче находится по другую сторону вот этих гор, в домике наподобие этого; он один из вас, он ваш приятель. Вот для таких-то людей, как вы, я и работаю; я работаю для тех, кто ни от чего не отступает и ни от чего не отрекается.

...ИЗ СОРБОННЫ

Перед тем как начать эту беседу, позвольте мне поговорить с вами так, как я ежедневно пытаюсь писать, — то есть доверительно, как если бы я обращался к друзьям. Мы тут как дома, поскольку

мы тут вместе, и слово «Сорбонна» (кстати, оно наряду с именем Пеги навевает мне кое-какие воспоминания о моей молодости, приятные лишь для тех людей, кто очень скоро набил руку по части сдачи экзаменов и продолжал сдавать их на протяжении всей жизни, становился академиком или министром с целью блестяще сдать свой последний экзамен… выиграть последний конкурс… конкурс из конкурсов: завоевать право на похороны в национальном масштабе), так вот, продолжаю: сам престиж слова «Сорбонна» не может помешать мне обратиться не столько даже к вам всем вместе, сколько к каждому из вас по отдельности, как если бы мы все спокойно сидели за одним столом — да хоть бы и за одним столиком кафе, ведь я слыву завсегдатаем кафе. Ну, по правде говоря, я посещаю кафе подобно тому, как другие посещают иные, менее безобидные заведения, а оказавшись в этих заведениях, не всегда доводят дело до искомого результата… Ну да ладно! Я прежде всего хочу вам сказать, что перед вами человек, который три недели тому назад покинул Францию, а вчера вышел из поезда и с удивлением узнал, что нынче вечером он будет иметь честь выступать перед вами — а ведь ему даже и название той лекции, которую

вам сейчас предстоит услышать, еще вчера было неведомо. Как каждый знает, успех лекции всегда так или иначе зависит от ее организаторов… Но сегодняшняя лекция будет зависеть от них всецело!

«Революция и демократия»… честное слово, название интересное. Сам-то я, скорее всего, назвал бы лекцию по-другому, ведь слово «революция» с тех пор, как революции стали подмениться революционными техниками (которые позволяют осуществить революцию первому встречному, лишь бы у него была хорошая память и он умел бы правильно пользоваться фабрикой революций, которая все больше смахивает на фабрику бакалавров), почти утратило свой смысл, а слово «демократия» для меня уже вообще ничего не значит. Я задаю себе вопрос, не является ли слово «демократия» самым проституированным из всех присутствующих во всех языках слов? Ну и ладно! Пусть будет «Демократия и революция», «Революция и демократия».

…Вы уж простите, что я не так хорошо подготовлен, как мне бы этого хотелось. Сами видите: я не мастер импровизировать. Я вместе с тем и не фигляр, и даже, по сути дела, не лектор. Обыкновенно лекторы — это такие фабрики обо-

льщения, а я для этого слишком стар… слишком стар, чтобы ломаться на манер старых кокеток. Но хоть я и старый конь — более того, хромой конь, — меня без предупреждения поставили перед препятствием: и вот я вытягиваю шею и готовлюсь к прыжку.

…ИЗ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ

Я намереваюсь высказать вам нечто такое, что вы, может статься, и не привыкли слышать, да и пришли вы сюда не для того, чтобы услышать такое. Задаю себе вопрос, не станет ли мое выступление в случае его успеха (вероятность которого близка к нулю) своего рода злоупотреблением вашим доверием, ведь я при этом нарушу законы жанра. И то сказать, лекция — тоже жанр; ну, правда, очень скромный жанр, а все-таки жанр — как трагедия, например, или там водевиль. У каждого из жанров есть определенные правила. Правило лекции заключается в том, что она должна приносить слушателям удовлетворение, нравиться им; может статься, как раз поэтому некоторые пожилые лекторы смахивают немного на старых кокеток… Нравиться можно по-разному. Публике весьма по душе лектор, который ее забавляет; но ведь и скучная лекция

может понравиться. Разумеется, скучная лекция не вызывает немедленного удовлетворения, и слушателям предстоит часок помучиться. Но вот роковой порог пройден, и лектору ничего не стоит, покидая аудиторию, заявить (соблюдая надлежащую интонацию):

— А, так вам было скучно! Гм!.. А мне нет. Само собой, тема лекции не из числа увлекательных, но я вообще-то очень люблю трудные темы.

Тут лектор даже слегка тешит собственное самолюбие. Собственно, он может сделать то же самое и до начала лекции. Так, я совершенно уверен, что кое-кто из вас получил от своих осмотрительных друзей советы в таком роде:

— Так вы идете на лекцию Бернаноса? Бернанос писал книги, которые не только нагоняют тоску, но и которые совершенно невозможно понять — взять хотя бы «Господина Уина». Притом он вечно недоволен всем и вся. Когда все здравомыслящие люди желали успеха крестовому походу нашего доброго соседа господина Франко, он написал книгу «Большие кладбища под луной» и при этом еще запрещал себе быть демократом. Теперь, когда все здравомыслящие люди стали демократами — один другого демократичнее, — он заявляет, что был и остается католиком, а демо-

кратом становиться не собирается. Странный все же тип этот господин Бернанос. Да взять хотя бы это: когда в 1938 году лагеря смерти — ну, «Ночь и туман»[35] — уже стояли у наших дверей, он гневно осуждал их, рискуя тем самым поссорить нас с господином Гитлером и провалить Мюнхенское соглашение. Вы понимаете? А сегодня, когда лагеря эти отодвинулись куда подальше, — примерно в район Белого моря, — поскольку «Ночь и туман» перевели на русский язык, — надо же, он опять недоволен, рискуя тем самым поссорить нас теперь уже с господином Сталиным…

И что же вы им ответили? А ну-ка, я попытаюсь угадать. Например, вот что:

— Любезная моя подруга, лично я не испытываю никакой особенной симпатии к господину Бернаносу, но Французский Альянс, благодаря усилиям которого из Северной Африки к нам прибывают увенчанные академическими лаврами признанные гении (чтобы продемонстрировать нам лучшие образцы жанра), имеет право

---

[35] Примечания: 35

«Ночь и туман» (нем. Nacht und Nebel) — директива Гитлера от 7 декабря 1941 г., подписанная и приведенная в исполнение маршалом В. Кейтелем, о депортации противников нацизма в Германии и на оккупированных ею территориях в концентрационные лагеря (они словно бы растворялись в «ночи и тумане»). В рамках директивы арестовано около 7000 человек, главным образом во Франции.

потратить скромную сумму на то, чтобы продемонстрировать и слегка скандальные образцы того же жанра. Так вот, я пойду взглянуть на господина Бернаноса — хотя бы для того, чтобы просто увидеть его физиономию.

Ну, стало быть, вы видели мою физиономию… Предвижу даже, что вы избавите меня от почти роковой констатации: «Что ж, я думал, это будет поинтереснее…» Теперь я могу обратиться к вам так, как я это обыкновенно делаю, то есть абсолютно искренне, поскольку вам уже известно, чего можно от меня ждать: слов, которые обязывают и меня, и вас.

…Из всех советов, которые мне неустанно адресовали — и притом столь деликатно и вежливо, что и на советы-то эти замечания не походили, — я запомнил лишь один, как раз тот, которому никогда не следую: «Будьте осмотрительны!» То есть, как говорится, в силу некоторых переживаемых нами обстоятельств мне надлежит быть осмотрительным. А я лично думаю, что лучший способ научиться осмотрительности — это отдавать себе отчет в том, как далеко можно зайти в своей неосмотрительности… Осмотрительность пристало проявлять в безмятежные времена, в пору процветания. Когда вы чувствуете себя под надежной защитой — какого черта вы отправитесь куда-то испытывать фортуну? Но если опасность сама приходит к вам, следует первым делом открыто противостоять ей — ведь поворачиваться к ней спиной еще опаснее. И тогда осмотрительность превращается в алиби для тру́сов.

Перевод К. А. Чекалова